

ЛЮБИМАЯ
ПРОЗА



СДЕЛАНО
В СССР

Сергей
Баруздин

ПРОСТО
САША



Сделано в СССР. Любимая проза

Сергей Баруздин

Просто Саша (сборник)

«ВЕЧЕ»

Баруздин С. А.

Просто Саша (сборник) / С. А. Баруздин — «ВЕЧЕ»,
— (Сделано в СССР. Любимая проза)

ISBN 978-5-4444-9010-5

В книгу известного советского писателя Сергея Алексеевича Баруздина (1926–1991) вошли повести о женщинах и рассказы о жизни людей разных поколений и профессий, объединенных верой в будущее. По повести «Просто Саша» в 1976 году был снят одноименный фильм, режиссер Всеволод Плоткин, в главных ролях: Марина Неёлова, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский. ... У медсестры Саши, красивой, уважаемой, доброй, умной женщины личного счастья все нет и нет. К ним в районную больницу приезжает хирург Вячеслав Алексеевич, в городе у него осталась семья, Саша знает об этом, но своих сильных чувств к нему скрыть не может...

ISBN 978-5-4444-9010-5

© Баруздин С. А.
© ВЕЧЕ

Содержание

Просто Саша	6
Повести о женщинах	33
Вместо вступления	33
Повесть первая. Ее зовут Елкой	35
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Сергей Баруздин

Просто Саша (сборник)

© Баруздин С.А., наследники, 2014

© ООО «Издательство «Вече», 2014

* * *

Просто Саша

I

Почему-то все люди ждут весны. Будто с ней наконец придет то, чего ты всю жизнь ждал-ожидал, и она, весна, как лотерейный билет, принесет тебе не рублевый, а самый главный, несбыточный выигрыш.

Вот и этот больной:

– А там уже весна на улице, да? – спрашивает.

– Да, да, – говорит Саша, утешая его, хотя и не совсем понимает, что с ним. Ну, вырезали аппендикс, обычная операция. И какая погода на улице, он не хуже ее знает: больного привезли часа два назад, а она не выходила на улицу с утра. – Скоро и почки лопнут, и птицы запоют...

Так говорит она, потому что он – больной и вообще, как ей кажется, симпатичный человек.

А сама Саша любит все времена года. И зиму, и весну, и лето, и осень. И, может, дождливую осеннюю погоду – особенно, но не холодную, а теплую. В дождь хорошо думается.

Саша поправила одеяло на оперированном и сказала:

– Отдыхайте! У вас все хорошо. Отдыхайте.

– Спасибо, – сказал он и тронул Сашу за рукав халата. – А звать-то вас как?

– Саша, – сказала она.

– Александра, значит, а по отчеству?

– Да что вы! Так просто, Саша.

Она вернулась в ординаторскую, где уже переодевалась Лена Михайлова, и тут у них начался разговор.

Начался с врачей и с белья, которое не успевают стирать. А потом...

– Ты зачем в медицину пошла, ты понимаешь?

– Не знаю, – сказала Саша. Когда на нее наступали, она всегда терялась и не знала что сказать. – У меня мама...

– Мама, папа – это же наивно! Пойми, мы ж – медики, а медики – всегда немного циники. Подумаешь, ну почище белье, погрязнее. Разве это – главное? Мне бы твои заботы. Может, ты еще и грозу прошлого года вспомнишь, что наш дом чуть не спалила? Ох, и глупая же ты, Сашка! Прошлогоднего снега ищешь! Не сердись, глупая, хотя и взносы принимаешь!..

Наверное, неумная!

Лена беспокоит ее. Двадцать лет всего, а уже такая – ни во что не верит, ничего не слышит, все сама понимает. Может, и понимает. Лена другая, на Сашу непохожая, и жизнь у нее не такая, как у Саши. Но двадцать лет – это не двадцать пять, хотя, по правде сказать, и двадцать пять не кажутся Саше старостью.

Наверное, глупая она! Права Лена.

Можно, конечно, было ответить Лене Михайловой. И надо было, как Саша поняла уже потом, ночью, обдумывая снова весь этот разговор. Сначала про грозу. Да, гроза была, страшная гроза, но ведь ни у кого в городе она не спалила дома. И у Лены не спалила. Так что тут и говорить нечего. А если бы и спалила, то дом у Михайловых застрахован на любой случай. И на случай грозы – тоже. И все равно они новый дом рядом строят, каменный. Вернее, из шлакоблоков. Но и не в доме вовсе дело, а в грозе. Все лето почти страшная засуха была. Не только что в полях, а на своих малых грядках все завяло. Огурцы пропали, помидоры, морковь с луком – и те чахли. А тут, после этой грозы, погода установилась. Дожди пошли, такие

нужные дожди, и жара спала. А про снег... Конечно, ее, Лену Михайлову, этот снег не волнует. А вот Вячеслава Алексеевича он занимает. Когда она еще в начале зимы выскочила на улицу с ведром – санитарки не было, – то столкнулась с хирургом на крыльце.

– Ох, Вячеслав Алексеевич! Отдыхаете?

– Думаю, думаю!

– О чем – не секрет?

– Вот снег идет – о жизни думаю. Речку мы, дураки, загрязнили, а снега весной хлынут в нее и станут чистить, промывать... Вот так... А вы что?

– Я ничего...

– Вы о генах слышали? Да, впрочем, что это я?..

– Вы же сами нам рассказывали!

– Знаю, знаю... Бегите, бегите, а то я задержал вас дурацкими разговорами...

Саша не спала всю ночь. Не из-за Лены и обидных ее слов, нет. О Мите думала. Ну, и о Лене Михайловой, конечно. И, пожалуй, главное – все же о ней.

Лена – замкнутая, как говорят, сама в себе. А Саша – наоборот. Замкнутым, наверное, лучше. Никто ничего не понимает в тебе, и ты кажешься умнее других.

А у Саши все на лице и на языке. Только потом она будет учиться, если что-то не так вышло. И только с Митей она стала замкнутой, но он не видит этого, не понимает. Он тоже – сам в себе.

Замкнутым хорошо, и все же...

И в самом деле, ну почему она, Лена Михайлова, не думает? Должна думать! Вячеслав Алексеевич думает. Многие думают и говорят. И о дожде, и о снеге, и об урожае, и о событиях в мире – обо всем, а не только о работе. Ведь урожай всех касается, и все в мире всех касается!

И вот Митя тоже. Станный он...

Есть люди странные, как Вячеслав Алексеевич, и это интересно, к ним даже тянет, как к чему-то непонятному, загадочному. А Митя – просто странный, и к нему...

Впрочем, что это она о Мите, когда о Лене начала? С Леной она сидела в опустевшей операционной, поспорила, и Лена ушла, обозвав ее глупой.

Когда Саша спорит, она будто становится даже выше ростом. Глаза блестят, светлые, с рыжинкой, волосы разлетаются в стороны, и она становится похожей на какую-то очень сердитую птицу.

А с ростом у нее, на самом деле, так – серединка на половинку. В Москве, в Третьяковке или Пушкинском, или даже в просторном Манеже Саша не могла близко разглядеть многие картины. Конечно, на картины смотреть лучше издали, это она и сама знает, но иногда все же хочется подойти поближе, рассмотреть хорошенько лицо Алексея, глаза Незнакомки и мало ли что еще, если это не портрет, а картина наподобие ивановской о Христе. Вот тут-то и не хватает роста. А снизу вверх смотреть плохо. Лучше уж издали.

И на танцы она, когда ходила, каблуки повыше подбирала, чтоб от других не отставать. А сейчас это все равно. На танцы они не ходят, Митя не хочет, да и занят он почти каждый вечер. В Москву они вообще ни разу с Митей не ездили. А в кино она ходит одна, Митя сидит в будке, крутит ленту. Вроде он ее и позвал, а вроде и нет.

Может, поэтому, а может, не поэтому, но Саша и в кино стала ходить реже.

Да, Лена права, глупая. А она еще другого не знает, про Вячеслава Алексеевича. И то хорошо...

Скоро обход. Об этом надо думать. И скоро весна. Должна же она наконец прийти в апреле!

Странно, четвертое апреля, а за окном снег. Его мало было в эту зиму, и сейчас зима словно заметала следы своей плохой работы. Весна приходила и отступала.

Говорят, что до тридцати – все просто в жизни, если, конечно, не война или что-нибудь такое, особое. А почему же ей, Саше, все так не просто? Ей двадцать пять! Или она старше своих лет? Или ей труднее, чем другим? Но и другим, многим их девочкам, например, не так просто.

Из-за Мити? Из-за всего этого сложного, тайного и трудного? Или...

Зря, конечно, она поссорилась с Леной. И другие девочки тоже, а она на них так не нападала... А Лена в декрет готовится. А ведь это, наверное, страшно – в декрет, когда тебе двадцать? Непонятно даже вовсе! Вдруг стать матерью и отвечать за маленького! Бог знает, что у нее на душе. Будущая мать! А она, Саша, вместо того, чтобы подсказать ей, она... А еще секретарь комсомольской организации! Ведь и взносы Лена платит вовремя, и санитарка – одна из лучших в больнице, и даже на собраниях выступала, когда других не вытянешь... Нет, не надо было придирааться к ней, не надо!

У них всего четыре комсомолки в хирургии. Четвертая – сама Саша. Не самая же худшая Лена? Нет, не самая. Правда, она ветренная. Но ей же только двадцать. Молодая? Да. Но в чем-то она, пожалуй, умнее Саши, увереннее, что ли. Может, так и должно быть, бог знает, что человек за год, за пять лет пережить может. И Лена переживает, хотя она и моложе. И сейчас у нее беда, только Лена не понимает этого.

А в райкоме говорят: «Подходите внимательно к каждому члену организации, к каждому комсомольцу, вникайте в его заботы, трудности...»

Вячеслав Алексеевич, тот все время думает. Это он только на операциях деловой, как машина. Тампон, шприц, кислород, тампон, дыхание, тампон... И на обходе.

А Саша видела его на улице – он бродит по городу просто так и думает, Саша замечает его во дворе больницы, когда он стоит, запрокинув голову, и тоже, наверное, думает...

Таких врачей у них не было раньше. За пять лет, как Саша окончила медучилище и пришла в больницу. И вот с прошлого года, когда приехал Вячеслав Алексеевич...

Надо думать самой. Надо! Сейчас вот о Лене...

Вечером после работы она пошла на Интернациональную, где жила Лена Михайлова.

II

Городок маленький. А все же – районный центр. Восемь тысяч жителей, летом с приезжими – больше. А так, если район взять, то и совсем немало – тысяч тридцать.

Для больницы их – и вовсе много. Больница теперь стала Центральной, и ей подчиняется все, что есть в районе. Пять больниц, двадцать пять фельдшерских пунктов, работа со всем медперсоналом района. Плюс медучилище. Значит, надо возиться и с девчонками-практикантками. И главный врач больницы чудеснейший Акоп Христофорович Оганесян – главный врач района, преподаватель и председатель экзаменационной комиссии в медучилище, да еще депутат.

Саша любила свой город. Может, и не то слово в данном случае: «любила». Любовь – это ведь что-то очень сложное и путаное. И Митю она, конечно, любила. Но город свой особенно.

Городок и впрямь был ничего. С горки на горку взбегали и падали его улочки и улицы, старинное, кое-как восстановленное после войны, соседствовало с новыми, разными, вплоть до самых модных стеклянно-алюминиевых, постройками, и еще была река внизу, и искусственное море – озеро рядом с плотиной, и зелени – хоть отбавляй, в городе и вокруг, и Москва рядом. Теперь – совсем рядом. Автобус до Москвы ходил дважды в сутки.

Саша родилась здесь, когда город был не город, а одни развалины. В сорок пятом году, в декабре, когда мама уже демобилизовалась и стала работать в больнице, в их больнице, но, конечно, не в такой, как сейчас, а прежней – на развалинах. И когда папы уже не было – он был в Порт-Артуре, и когда он остался там, не вернулся. Саша знает его только по фотографии.

Одна – подполковник, и другая – совсем простой, в кепчонке, рядом с мамой еще до войны, и еще раньше – мальчишка. Они приехали сюда как раз перед войной.

А теперь и мамы нет, вот уже пять лет нет, но Саша слышит ее голос и помнит ее слова, потому что город их долго был таким, каким он остался после войны, и Саша уже в школу ходила, а развалины и запустение, оставшиеся с войны, были рядом. Город отстраивался, и Саша росла, и школу кончила. У нее не было никого, кроме мамы и отца, который жил, пока жива была мама, жил, как и она, в сегодняшнем и вчерашнем вместе с ее словами. Все это вместе взятое и сливалось для Саши в тот один рассказ, которым она жила и который был таким живым, словно она и мама – одно...

III

«В деревне, значит, у нас тридцать два дома было. А в семье я – четвертой родилась. У отца с матерью маленькое хозяйство, но вскоре отца забрали на войну. Я родилась в десятом, а в четырнадцатом – война. Жили как жили. В разруху после Гражданской у мамы нас двое осталось. Тиф. Коля и я, значит, младшенькая. Когда коммуну в деревне создавали, мы первыми вступили. В двадцать седьмом – двадцать восьмом голод был страшный, Колю кулаки убили, мама еле выжила. Я держалась как-то. Даже в школу ходила, в шестилетку. А потом... Я с детства почему-то к медицине тянулась. Бывало, собираемся девочки, а я у них заводиловкой, и начинаем, значит, в больницу играть. Микстуры из всяких трав наварим, порошки из опилок, таблетки из глины и хлебного мякиша, вот и лечим, значит, своих кукол. Может, оттого, что больных вокруг было много...»

Рассказывать Анна Савельевна не умела, да и не очень-то любила. Почему-то вся напрягалась, вспоминая, как, робея и заикаясь, рассказывала свою биографию, вступая в комсомол, потом тоже, хотя и на фронте, уже при вступлении в партию.

«...А в тридцать первом году, доченька, курсы медсестер при больнице открылись. Мама и говорит: иди, иди, учиться тебе надо. К чему ж, мол, шестилетку кончала? Пошла, а это пять верст от нашей деревни. Приняли. Днем в колхозе, а как вечер, топаю на занятия, а оттуда опять домой. Так год. Учиться было нелегко. Забыла со школы много, а тут еще латынь. Ничего, кончила через год. Тут как раз и с папой твоим мы встретились. Поженились, значит, как положено. Он младшим политруком был. В тридцать пятом девочка у нас родилась. Умерла. Дали было зарок: больше детей не заводить, да не выдержали потом. А тогда я, значит, уже в районной больнице работала с врачом-окулистом. Тут мама умерла. Дом мы продали и начали солдатское кочевье. Куда папу пошлют, туда, значит, и я за ним. На Дальнем Востоке были, потом в Калуге, Воронеже. В Воронеже я двухгодичную школу медсестер кончила, без отрыва. Работала в городской клинической больнице, в терапии. А потом папу сюда перевели, в я за ним. Да только недолго мы прожили – война. Нас с папой на границу Литвы. Часть была инженерно-саперная. Отступали вместе до самого Валдая. В пути контузило меня в первый раз. А тут нашу санчасть ликвидировали, перевели всех нас в госпиталь. Расстались мы с папой на станции Налимово. Думали, и не встретимся: уж очень тяжелые бои были. Хотя сорок второй год – не сорок первый, а трудно было. Папу я так и не видела, пока нас на Украину не перебросили, а потом уж в излучине Дона мы были вместе, считай, значит, на другом краю войны. В сороковой гвардейской стрелковой дивизии мы, значит, и встретились. В вашем как раз медсанбате, куда он привез своего командира, тяжело раненного. Вот ведь как бывает! Папа уже подполковником был, по новым званиям. Но любил говорить: «Я комиссаром родился, комиссаром и помру...»

IV

Пока Саша бежала на Интернациональную, дважды к ней приставали. Сперва – подвыпившие шоферы из автоколонны. С ними оказалось просто.

Шоферы – их постоянные пациенты, и кто-то узнал Сашу, сказал:

– Так это из больницы, братцы! А ну, сгинь! Здравствуйте! Да вы не бойтесь...

Видно, он пытался вспомнить Сашино имя, но не вспомнил, а Саша его помнила и по фамилии, и по имени-отчеству: пять недель пролежал.

– А я и не боюсь, Степан Антонович, – сказала она. – Как ребро-то? Погода сейчас такая...

Степан Антонович сразу протрезвел, и все вокруг него замолкли.

– Все в порядке! Рейсы даем. И в честь...

– Пьете вы все много, – простодушно сказала Саша. – А потом из-за этого все беды...

– Так это сегодня, сестричка! – кажется, Степан Антонович нашел вместо забытого имени нужное слово. – Сегодня у нас выходной...

– Я пойду, – сказала Саша. – И вы, Степан Антонович... Хорошо, что не забыли...

– Вспомнил, – вдруг обрадовался Степан Антонович. – Как же я забыл! Ведь просто Саша, да? Правильно?

– Правильно, – кивнула Саша.

– Вот память! Но скажу вам, признаюсь, хороших людей, настоящих она не обходит...

На углу Трудового переулка Сашу остановили какие-то юнцы, с лохматыми прическами и походкой Буратино – на шарнирах.

Эти были хуже. Схватили за руки, и ей пришлось отбиваться, а потом, взглянув в лицо, бросили:

– Старуха!

Она убежала, но слово «старуха» обидело. Уже сколько лет она видит эту шпану в городе, и пускай ее мало и она ничего не значит, но ведь и это о чем-то говорит. Значит, плохо мы все вместе что-то делаем...

Она уже почти подходила к дому Лены Михайловой, когда ее окликнули:

– Это вы?

Она обернулась и увидела Вячеслава Алексеевича. В руках у него были какие-то свертки и еще что-то, и все это вываливалось у него из рук; и даже апельсины, прорвав пакет, высыпались, два упали в мокрый снег.

– Вот, – Саша подняла апельсины и сунула их Вячеславу Алексеевичу, положила поверх многочисленных свертков и предложила: – Давайте, я помогу вам!

– А я ведь тут живу, – сказал Вячеслав Алексеевич. – Снимаю комнатку у хорошей хозяйки. Спасибо! Только как вы...

Но Саша уже выхватила из его рук часть покупок и еще раз повторила:

– Я помогу вам, Вячеслав Алексеевич. Пойдемте! Я помогу!

Он совсем растерялся, не знал что делать и что сказать, хотя в руках у него остался единственный маленький газетный кулек с конфетами.

– Да, да...

А Саша уже подошла со свертками и кулками к калитке, тронула ее, спросила:

– Сюда, Вячеслав Алексеевич?

– Сюда, сюда, – сказал он, – но...

Он открыл калитку, пропустил Сашу вперед.

– Но, – произнес он, – вы только не пугайтесь, У меня не прибрано и вообще...

– Ну, что вы, – сказала Саша.

Они прошли через темные комнаты пустого дома («Хозяйка моя на дежурстве сегодня», – объяснил Вячеслав Алексеевич) и наконец попали в четвертую – крохотную, с раскиданной по стульям одеждой и разбросанными повсюду книгами.

Саше очень хотелось осмотреться и даже в заглавия книг заглянуть, но она прошла между этажеркой и кроватью к столу.

– Сюда можно положить? – спросила она Вячеслава Алексеевича.

Она, конечно, не понимала его состояния, но сама была смущена и не знала, что с ней происходит, почему ей так хорошо и одновременно страшно.

– Конечно, – сказал Вячеслав Алексеевич. – Вы уж только не обращайтесь внимания... Может, вы снимете пальто?

Она покорно положила свертки на стол и сняла пальто, а Вячеслав Алексеевич так и остался стоять с кулечком в руке, надо ему положить кулек на стол и снять плащ. Тем более что сама Саша тоже стояла.

– Может, вы присядете? – спросил он наконец и, спохватившись, переложил снятое ею пальто в сторону.

Саша села на краешек продавленного дивана, пружины внутри его вздрогнули и, чтобы хоть что-то сказать, тихо проговорила:

– А у вас уютно, Вячеслав Алексеевич. Вот у нас с Митей... тоже вроде хорошо, но все же у вас...

Зачем она это? Ну чего вспомнила Митю, да еще при Вячеславе Алексеевиче? Саша сама не могла понять себя. Или это для пущей самостоятельности? Или ей хотелось чем-то оправдать себя перед ним?

– Это хорошо, я рад за вас, – сказал Вячеслав Алексеевич.

– Что вы, спасибо! – опять заносило Сашу. – Вот у вас... И работа, и все! Вы знаете, как к вам относятся у нас в больнице. И...

Она лгала ему и себе, а может, и не лгала, потому что у нее дома ничуть не лучше было, но дома она как-то успевала, прибиралась, а здесь он, видимо, всегда один, и что уж тут требовать, когда у человека так сложилось, а складывается все в жизни всегда по-разному.

– Пожалуйста, конфеты!

Вячеслав Алексеевич высыпал на стол конфеты «Мишка» и «Мишка на Севере» и еще какие-то.

– Берите, пожалуйста! Прошу! Саша не взяла.

– Спасибо! – сказала она, хотя ей очень...

Саша не знала, что сказать еще. Вячеслав Алексеевич продолжал стоять, когда она сидела, и странно поворачивался к ней то лицом, то чуть боком, но вот он сел на диван, пере-двинув верблюжье одеяло в сторону Саши так, что оно оказалось между ними.

– Вот так, – сказал он.

– У вас действительно хорошо, – повторила Саша. И опять они замолчали.

– Сашенька, включите, пожалуйста, радио, – вдруг попросил Вячеслав Алексеевич. – Там «Спидола» на столе.

Он назвал ее Сашенькой, и, кажется, это было впервые, и она почему-то смутилась, вспыхнула и тут же обрадовалась.

– А что там? – спросила Саша.

– Давайте послушаем насчет референдума. Утром не успел.

– Какого?

– Во Франции, – объяснил Вячеслав Алексеевич, положив руки на стол. – Не знаю, как вы, а я чего-то не понимаю.

Саше всегда казалось, что заведующий отделением всегда все понимает, а тут опять для нее неожиданное – Вячеслав Алексеевич признает сам, что чего-то не понимает.

Саша крутила ручку приемника.

– «Маяк» продолжает свои передачи, – сказало радио. – Передаем русские мелодии...

– И то хорошо, – сказал Вячеслав Алексеевич.

– А что?

– Да так... Слишком уж много всякого. В общем-то, мне на автобус было пора. Но теперь не поеду. Не хочу!

– Это из-за меня? – робко спросила Саша.

– Что вы, Са... Что вы! Просто передумал...

Вячеслав Алексеевич был смущен, и Саша потому чувствовала себя не очень уютно, она услышала, поняла это недоговоренное «Са...».

– Я и спросить вас забыл, вы куда-то направляетесь?

– Да, к Лене Михайловой, нашей, знаете? – сказала Саша. – Она здесь, на Интернациональной живет, рядом. Вот я к ней и шла...

– Ну бегите, бегите, не буду вас задерживать! – встал Вячеслав Алексеевич.

Уже прощаясь, Саша вдруг спросила:

– Вячеслав Алексеевич, а вы нам заметку напишете в первомайский номер? А то, знаете, никто не хочет...

– Если нужно, напишу, – согласился Вячеслав Алексеевич. – Только вы подумайте, о чем вам нужно, и скажите мне. Хорошо?

– Я подумаю, – пообещала Саша. – И скажу.

Он проводил Сашу через чужие пустые комнаты на улицу к калитке. И здесь понял окончательно: никуда он не поедет. И все правильно.

Когда Саша ушла, он заметил вербу. Первое весеннее дерево уже выбросило свои мохнатые серые шарики и вот теперь ждет только тепла, чтобы первым расцвести этими ласковыми комочками. Они превратятся из серых в желтые раньше, чем появятся подснежники и одуванчики из не прогретой еще земли, раньше, чем вскроются почки на осине и ветле, и, может быть, вместе с прилетом скворцов и других заморских птиц. А потом зацветет орешник – тоже раннее дерево, и зазеленеет лиственница, и выплеснется из земли, поднимая сухую прошлогоднюю листву, свежая травка. Тогда и наступит весна.

Но не деревья, не цветы и не трава заявят о смене времени года и о том, что пришла наконец она, настоящая весна, а воздух, пахнувший прелью и свежестью, прогретый солнцем и теплом земли. И, конечно, птицы...

Птиц еще мало в этом году по запоздалой весне или, точнее, не мало, а просто они боятся, что вновь грянет непрошенный снег и ударят заморозки, и птицы таятся, дожидаются ясного, устойчивого дня – и синицы, и зеленушки, и мухоловки, и поползни, и все остальные, что живут здесь и переносят подмосковную зиму, и лишь дятлы, кажется, работают, как ни в чем не бывало. Вот уж – настоящие работяги. И сейчас на соседнем участке слышится дробный стук – это, конечно, он, дятел, стучит по сухому стволу дуба. И во всем этом есть свой определенный, ясный смысл.

И, конечно, в том, что именно сюда, в этот город, приехал Вячеслав Алексеевич, тоже есть свой смысл. Мало кто знает об этом, но ведь он родился здесь. Все, что было до немцев, до войны, он не помнит, но потом... Родители, убитые немцами, и дом, спаленный ими, хотя это было без него. Дом, каким он был тогда, не запомнился, а немцы, ворвавшиеся в город и, значит, в их дом и потом спалившие все из огнеметов, запомнились. Запомнились по тому, как это было на Украине. А родители не запомнились, хотя он и пытался не раз вызывать в памяти их лица. Не было их лиц, а были другие – немецкие. И он не раз представлял, как они стреляли в отца и мать и хихикали, кричали...

Вячеслав Алексеевич вернулся домой в неудобную комнату и ходил, ходил по ней. Шаг от дивана и назад до двери, три шага к столу и два к этажерке с книгами! Главное, вероятно, он понял, главное, что не надо ехать в Москву, но еще что-то неясное все вертелось в голове.

Да, вот что. Хорошо, что никто в этом городе не знает, почему он приехал именно сюда. Милый, добрый их главный Аноп Христофорович Оганесян – не знает, хотя поначалу и допытывался. И никто в больнице, даже Саша, Сашенька, – может, лучшая из всех, кто есть, – не знает.

А впрочем, что тут знать! Сколько ему лет тогда было, в сорок первом? Восемь. Тогда его увезли на Украину к брату матери. И ничего, кроме самого страшного, не запомнил. Сейчас важно, что он здесь.

Вячеслав Алексеевич, взглянув на невыключенную «Спидолу» и сваленные рядом покупки, вернулся к столу. Включил погромче концерт русских мелодий. Еще раз удивился чему-то. Потом достал бутылку «Московской» калужского происхождения и налил полный стакан.

«Не надо, – подумал про себя и тут же: – Нет, надо!»

И выпил залпом, как это делал не раз после сложной операции.

V

Интересно, что апрель еще не апрель, и зима никак не сдается, и лежит снег, а верба уже стала вербой.

Саша заметила вербу, как только простилась с Вячеславом Алексеевичем, и представила себе, как желто она зацветет, как потом зацветут другие деревья, и на земле среди сухих листьев, оставшихся с прошлого года, появятся подснежники и одуванчики и зазеленеет трава, а в лужах, йодисто-темных холодных лужах, появятся лягушки, которые начнут играть свои весенние игры, и метать икру, и вяло гоняться друг за дружкой.

А пока не было ни цветущей вербы, ни других деревьев, ни цветов, ни лягушачьего кваканья, ни шума всплеснутой воды.

Не было теплого солнца и согретой солнцем земли, но что-то весеннее и в воздухе, и в небе, и на земле уже было. Снег медленно таял, и в нем, тающем снеге, было уже что-то весеннее.

– Это ты?

Лена провела ее в дом. Они долго сидели и говорили.

– Лен! Ну, как же это, Лен! Почему же ему-то не скажешь? Не понимаю!

Саша удивлялась искренне и пыталась возмущаться, но тут, в этом доме, почему-то ничего не помогало.

Она доказывала Лене, что не все люди подлецы... Надо как-то думать о жизни и о том, как устроить ее. Об этом Саша и сама слышала от старших. Ее папа и мама жизнь свою специально никак не устраивали в этом понимании, они просто жили, но сейчас вот все чаще Саше советуют: «Надо устроить жизнь! Пора устроить жизнь!» Иногда вместо «устроить» говорят «наладить», но это одно и то же.

– А чего устраивать? Дом новый строим, – сказала Лена. – И построим с мамой.

– Не об этом я, Лен! О ребенке. Он же у тебя родится...

– А что дом – не важное? Дом и ребенку нужен!

Тут Нина Петровна вмешалась:

– Ленку вырастила, слава богу, без мужичьей помощи. И Ленке это не надо. А забеременела, пускай родит, выходим. Для нас человек прежде всего, а кланяться ни к кому не пойдем, не надо нам это...

Саша опять что-то говорила, но больше спорила с Леной про себя и с мамой ее – про себя.

– Ты что сюда пришла? Воспитывать? Меня, что ль? – вдруг спросила Лена.

– Что ты, Лен!

– Им всем указания дают, в райкоме, воспитывай, воспитывай, – мимоходом сказала мать Лены. – А чтоб жить дать, как люди хотят, этого нет...

Саша смутилась. Это было оскорбительно и для нее, и для всех, пусть и в райкоме, где тоже люди, хорошие люди, и зачем же их так обижать, но ведь Лена и мать ее сами только что говорили, что человек – прежде всего. Так почему же в одном случае, когда речь идет о самой Лене и о ее маме, и о ребенке, который родится у Лены, человек – это человек, а тот солдат, отец ребенка, не человек, и сама Саша сейчас, которую они обижают, не человек, и в райкоме люди – не человеки...

– Никто меня не воспитывает, Нина Петровна! – отчетливо сказала Саша. – И я не хочу никого...

Она совсем нахохлилась. Раз и еще раз пригладила волосы – как назло, разлетаются в стороны, и Саша опять поправляет их. Серые, маленькие глаза Саши вспыхивают и гаснут, гаснут и вспыхивают.

Неужели она на самом деле такая глупая?

– Тебе хорошо говорить, когда у тебя твой Митя есть, – сказала Лена. – Я бы мечтала о таком...

А на улице, кажется, потеплело. И даже через форточку, которую открыла Лена, пахло весной. Прелым чем-то и свежим.

И Саша вспомнила вербу, ту самую, что росла у дома Лены Михайловой, и снег, который растает, может быть, позже, чем расцветет эта верба, и о том вспомнила Саша, как зазеленеет трава, и еще о том, что Вячеслав Алексеевич собирался в Москву и почему-то не поехал, и она, Саша, чувствовала себя перед ним виноватой...

– Митя твой хороший, – продолжала Лена. – Самостоятельный и опять же при деле. Кино, что ни говори, это вещь. И будущее у него большое. У кино, конечно. Сейчас в год, говорят, по триста фильмов будет! И все по две-три серии, а то и по четыре!

– Ну и что? – сказала Саша.

Она еще что-то хотела сказать, но уж очень хорош был воздух с улицы.

VI

Да, у Саши был Митя. И кино теперь стало многосерийным. И, может быть, поэтому Саша не торопилась домой. Раньше Митя освобождался в девять – в половине десятого, а сейчас чаще около двенадцати, и если они не договаривались заранее, что она придет к нему, и если не ходила на его сеанс, то обычно ждала его дома.

Саша жила одна, и Мите было удобнее ходить к ней, в ее половину дома (вторую Саша продала после смерти мамы). Он, как правило, оставался до утра, а потом, когда Саша убегала в больницу, уходил досыпать к себе домой.

Она привыкла к этому. Медики, они ведь, как говорит Лена, циники и все-то все знают с малолетства, с медучилища, по крайней мере. Но когда им случается полюбить или поверить в любовь, то любовь эта отбрасывает в сторону все – разумное и неразумное. А уж как это было, Саша не помнит. Это уже давно у них.

Мама еще была жива, а Митя уже был. Саша приходила к нему. Он приходил к ней. Она ходила к нему в кино. Он задерживался, и она ждала его. Он опять приходил к ней и помогал ей – особенно в продаже половины дома. Он был ее Митя, и она была... Нет, конечно, он только к ней приходил. Она знала это. Никого другого у Мити не было. Это хорошо, конечно. Хорошо, но...

Саше трудно было все объяснить.

Но вот Вячеслав Алексеевич тоже медик, а никогда не был циником. И с больными, и с врачами, и с медсестрами он не был циником. И если иной больной был обречен, и все знали это, то Вячеслав Алексеевич никогда не говорил об этом вслух, да еще заранее.

Саша помнит, как на той утренней пятиминутке, на которой Вячеслав Алексеевич о генах рассказывал, он заговорил о хирургии:

– Иные считают, что хирургия – наиболее ясная область медицины. Вскрывай, режь, удаляй – чего уж тут проще! А ведь мы к этому еще и лекари, а значит, в каждом из нас должен сидеть и терапевт, и невропатолог, и уролог, а главное, психолог. Прочитал я тут на днях один роман. Так вот в этом романе у автора как бы идефикс: дескать, сообщи заранее раковому больному, чем он болен, и, глядишь, он и сам пересилит в себе болезнь. Может, и заманчивая идея для исключительно сильных личностей, а особенно для тех, у кого опухоль оказывается незлокачественной. А всерьез – это кошунство. И теория эта – вне медицины настоящей и практики лечебной. Пусть старо это, хочу напомнить вам наше правило: слово врача может вылечить, но оно же может и убить. Слово сильнее хирургического ножа...

Эх, опять Саша перескакивает с одного на другое! Была у Вячеслава Алексеевича, думала о Лене Михайловой, была у нее, думала о Мите, а сейчас...

Нет, все же Вячеслав Алексеевич...

Но Митя, Митя...

Да, у Саши был Митя. Как это все сложилось, как получилось, сразу и не скажешь. Можно, конечно, так: полюбила, а потом... И то верно, и другое, но все не так. Можно еще проще: ошибка молодости и никакой любви, а так, одно влечение, но и это... Не так, не так!

Но все-таки Митя? Что он для нее, Митя?

Если бы Сашу пригласил кто-то и начал задавать официальные вопросы, она бы сказала, что Митя очень хороший человек, и все им довольны, и даже на районной Доске почета висит его фотография, потому что он никогда не отказывается крутить дополнительно сеансы для детей, а если нужно, то и в район выезжает. И еще, и еще, и еще тысячу раз Саша говорила бы добрые слова о Мите, потому что нельзя вслух говорить о человеке плохо. В каждом обычном человеке есть, наверное, что-то и плохое, а не только хорошее, и в ней самой, конечно, тоже, и в Мите...

Но что делать, если вроде ничего не происходит, а ты постепенно узнаешь о человеке то непонятное, далекое и противоречащее тебе, чего раньше не видел, не чувствовал, не знал?

Пять лет – большой срок, для Саши совсем огромный, и вот все пять лет накапливалось в ней по крупинке «это». Сашу обижало, что Митя не хочет жениться. Она замечала, как Митя боится ребенка, и ей думалось, что именно в этом он становится для нее другим, неприятным. То и не то, но все собиралось вместе, и она много думала об этом, особенно в последний год, когда в больнице появился Вячеслав Алексеевич...

Но вот и опять – Вячеслав Алексеевич! И вновь Саша перескакивает с одного на другое. Ни при чем тут Вячеслав Алексеевич. Надо думать о другом, о другом.

Ну, вот хотя бы об этих кучках земли, которые подняли кроты, подняли даже на ее маленьком огороде, и о том, что тепло все-таки придет и надо что-то посадить на огороде рядом со своим полудомом. С огурцами она, пожалуй, в этом году возиться не станет. Огурцы и в магазинах появляются, и в палатках, пусть желтые и несимпатичные, но это все равно, а морковь, укроп, лук и салат посадить, наверное, надо. Салат Митя любит, когда она готовит его с уксусом и сахаром и добавляет в него укроп и совсем немного мелко-мелко нарезанного лука. А морковка и в суп, и просто так, для себя. Саша любит выхватить из грядки морковку и похрустеть ею, и иногда это заменяет ей обед, который она не успевает приготовить, или когда вообще не поела – просто чтобы заморить червячка.

Но при чем же здесь Митя? Огурцы, морковь, лук...

Лук... Акоп Христофорович Оганесян (Саша не сразу привыкла к этому необычному для нее набору слов) как-то говорил, что во Франции едят луковый суп. Конечно, если бы Митя вдруг захотел жениться на ней и сыграть настоящую свадьбу, то Саша разузнала бы, как готовят этот французский луковый суп, и подала бы на стол. Уж тут она бы постаралась. И Оганесяна они обязательно позвали бы. И он бы пришел, обязательно пришел бы, потому что это удивительный человек, как и Вячеслав Алексеевич, впрочем...

Акоп Христофорович, Вячеслав Алексеевич, Митя...

Да, у Саши был Митя. А он бы, может, и не позвал их на свадьбу, если бы свадьба была. Он ведь про них просто не знает. И про то, что Саша отвечает в больнице за стенгазету, не знает. А скоро опять День печати, и даже в «Правде» наверняка напишут о тех, кто выпускает стенные газеты, Митя знает, как крутить фильмы.

Но не всегда даже знает, что за фильмы крутит, а потом приходит к ней – и они ни о чем не говорят, а если Митя...

Она уже подошла к дому и открыла дверь в свою половину, когда ее окликнула соседка:

– Где же вы так, милая? А тут Митя приходил и ждал, минут пятнадцать ждал, все интересовался, не сказали ли вы мне чего, не предупреждали ли? Наказал к нему зайти, как вернетесь. Он ждет.

– Спасибо, – смутилась Саша и добавила: – Большое спасибо! Я сейчас!

Вошла в дом, быстро переоделась и выбежала снова на улицу, направляясь к Мите.

Зачем, почему? Этого она и сама не понимала. А все-таки шла к нему.

VII

В больницу привезли солдата. Он был без сознания. Со слов сопровождающих записали имя, фамилию, номер воинской части. Когда и как случилась беда – никто не спрашивал. Было не до этого. Солдат – «тяжелый». В таких случаях сначала надо спасать, а потом выяснять. У солдата были сломаны ребра, повреждена голень, пяточная кость. К этому плюс – сотрясение мозга и повреждение левого глаза.

Младший лейтенант, сопровождающий солдата, суеился во дворе у машины, потом бегал возле носилок, пока солдата несли в коридор хирургического отделения, затем все пытался помогать, когда больного укладывали в коридоре на диван. Места в палате не было, да оно и не нужно было сейчас. Нужна операция, и сложная, и одну из сестер срочно послали на дом за хирургом Вячеславом Алексеевичем.

Солдат изредка приходил в себя и настойчиво просил о чем-то или звал кого-то, но понять его было трудно.

– Ты что, Еремеев? Скажи, что? – вскакивал младший лейтенант, наклоняясь к дивану, на котором лежал солдат. Он умолял и просил Еремеева и не знал, что делать, потому что свалилось на него это несчастье как-то сразу, неожиданно и не рядом с расположением части. Просто он шел по шоссе, и тут эта авария, и Еремеев, лежащий на асфальте возле своей машины с помятым кузовом, а было уже совсем темно. Тогда он остановил крытый грузовик, первый попавшийся, с шофером погрузили солдата в кузов и вот доставили сюда, поскольку медлить было нельзя ни минуты.

Младший лейтенант и шофер не очень тихим шепотом обсуждали происшествие, а сестры и нянечки без конца шикали на них, и тогда шофер все время спрашивал:

– А сестричка Саша где? Саша? Просто Саша!

Светленькая, такая маленькая и чуть рыженькая?

Шоферу никто не отвечал, и он виновато возвращался к младшему лейтенанту, объясняя:

– Сестричка здесь хорошая есть, я сам у нее лежал, но сейчас, наверное, нет ее, что ли...

Поздно ведь. А она такая... Что он там говорит?

– Я и не поблагодарил вас, – вспомнил младший лейтенант. – Спасибо, что вы так, а то, знаете... А говорит он, я не пойму что. Зовет кого-то. Бред это, наверное? Страшно?

Младший лейтенант относился к шоферу с подчеркнuto вежливым и, вообще-то, естественным уважением:

– Ведь вы могли не остановиться, когда я вас...

– Да как же я мог?

Шофер был старше младшего лейтенанта не меньше чем в два раза. Он без конца вскакивал и искал по коридорам хирургического отделения какую-то сестрицу Сашу, просто Сашу, как он говорил, и повторял, что она, именно она, спасла его после страшной аварии, в которую он попал по собственной глупости, а она все поняла и именно поэтому спасла.

Младшему лейтенанту стало спокойнее, раз тут спасают после чего-то страшного, то и Еремеева должны спасти, а Еремеев его беспокоил сейчас больше всего.

Солдат опять что-то забормотал и даже чуть приподнялся на диване и стал просить подбежавшего к нему младшего лейтенанта и пожилую нянечку:

– Она тут... Я ж в больнице... Я все знаю, но позовите ее! Сестрица! Товарищ младший лейтенант, позовите!

И нянечка, и младший лейтенант наперебой заговорили:

– Ложись, миленький!

– Еремеев, тебе покой нужен, понимаешь, покой!

– А ну, вот так, на подушечку! Потерпи! Потерпи!

– Успокойся, Еремеев, успокойся! Давай, как говорят, лежать спокойно.

– Ничего, миленький. Наш Вячеслав Алексеевич сейчас придет, он мигом тебя на ноги поднимет. Знаешь, какой он врач!

– Слышишь, Еремеев? Сейчас Вячеслав Алексеевич придет! Понимаешь?

Солдат чуть успокоился, замолк, и тогда нянечка спросила у младшего лейтенанта, показав на шофера:

– Дружки небось?

Объяснять было трудно и длинно.

– Да, – сказал младший лейтенант.

– Ты отсыдь пока, – посоветовала нянька, – лучше ему. Пусть подремлет.

Младший лейтенант отошел от солдата и вернулся к шоферу, спросив его:

– Я и как звать-то вас не знаю. Все так...

– Степан Антонович, – сказал шофер. – Да, вот жалко все же, что Саши нет. А ночь уже...

По коридору прошли двое, судя по всему, врачи, как поняли младший лейтенант и шофер. Они на ходу дали какие-то указания, а один наклонился над солдатом.

Когда солдата переносили с дивана на носилки, младший лейтенант опять услышал, что Еремеев кого-то звал, и Степан Антонович слышал, как один из врачей, более молодой, сказал другому: «Акоп Христофорович, мне бы Неродову вызвать. Операция сложная». И тот, кого звали Акопом Христофоровичем, сказал: «Конечно, конечно!» – и дал кому-то поручение найти срочно Неродову.

Степан Антонович, шофер, не выдержал и подошел к врачам:

– Простите, у вас тут сестричка есть, Саша, просто Саша. Я знаю... Может, она нужна? Она... Я бы сбегал, если нужно?

Один из врачей, молодой, вроде бы удивился:

– Так мы о ней и говорили. Сейчас ее найдут, Неродову Сашу. Вы правы. Незаменимая операционная сестра! Мы за ней уже послали.

VIII

«...И вот еще, значит, Рогачки. Местечко такое есть на Украине. Городок. Или поселок, скорей. Маленький такой. Летом, видно, зеленый, а тут зима, значит, ноябрь. Сорок второй год. Это еще раньше Сталинграда было. Так вот, эти Рогачки. Там я в медсанбате работала. Там и с папой мы встретились после многих месяцев. Медсанбат как медсанбат. Размещались в палатках: пять столов самодельных – хирургических, из них три перевязочных, два операционных. Работать можно, но плохо, что немец рядом. Повесит немец фонарь над самым медсанбатом, то есть осветит его с самолета – и тут делай что хочешь. Свет от движка выключим, коптилки зажжем и при них оперируем! Злимся на немца, естественно, мешает он нам, хотя и толку от его освещения для немецких войск никакого. Но что с него, с немца, взять? Гитлер! Перевязочного материала у нас не хватало. Бинты стирали, потом сушили, а уж о белье, значит, не говори. Простыни там, накидки, подстилки и все такое прочее. Только зря я тебе все это рассказываю, ведь не о том начала.

Так вот, значит, один раз нам в медсанбат мальчишку привезли. Из партизанского отряда, а лет ему не больше десяти, а может, и меньше. Говорили, что на Украину он случайно попал, а сам – русский, из-под Москвы. Ранение серьезное, крови потерял много. Делали все, что могли. При свете от движка. А потом, когда немцы ударили, при коптилках. Переливание крови нужно было, а у нас, у всех, как назло, первая и вторая группа крови, а у него редкая – третья. Тут вспомнила я, что у папы твоего третья группа. Ну, бросилась его искать, а самого-то главного мы, оказывается, не знали! Часть наша, значит, уже три часа, как в окружении оказалась, и мы со своим медсанбатом тоже в окружении...»

Эх, Саша, Саша! И что с тобой происходит? Опять вот маму вспомнила. Почему? Может, потому, что к Мите пошла, а не надо было?

Человек должен любить людей. Любить и видеть в них хорошее. Саша, наверное, еще не умеет так, а вот мама умела, и папа, по рассказам мамы, умел. Может, так за пределами медицины можно, конечно, по-разному рассуждать о людях. Эти, дескать, хорошие, эти – похуже, а те еще хуже. Но когда они попадают в больницу или, как раньше у мамы, в медсанбат, санчасть, госпиталь, то они – люди. С плюсами и минусами. С достоинствами и недостатками. Это – все потом. А сейчас – каждого спасти надо. И мама – на войне. А там...

И опять Саша слышит мамин голос:

«Окружение, значит. А нам не до окружения. Раненые у нас в медсанбате и еще вот этот, мальчишечка. Папа тут прибегает твой, кричит на врачей и на меня, а я ему про мальчишку, про группу крови. Посмотрел он на него и вроде сдался. Кровь, говорит, дам. Сейчас приду, потерпите, дам, значит, команду. А там что выяснилось? Разведчики наши нашли узкий выход из окружения. Конечно, по военным законам надо было немедленно выходить. У нас, в конце концов, сто с лишним раненых, а в окружении многие сотни бойцов и коридор для них готов, чтобы выйти к своим. Вернулся папа. Говорит: давайте берите кровь, но только побыстрее. А я, значит, только потом поняла, что и как было. А тогда взяли мы кровь у него и мальчишечке этому перелили. Спасли. Потом на четырех машинах медсанбат вывезли вместе со всеми и самого тяжелого нашего раненого, которому папа кровь дал. Когда уже у своих оказались, я узнала, что пришлось нашим ради этого сорокаминутный бой держать, чтобы сохранить коридор для выхода из окружения. И не от папы узнала, а от других...

А мальчишечка этот выжил и опять на войну пошел. Только не в партизаны уже, а воспитанником танковой бригады. Сначала у нас отошел, потом – госпиталь, а уже после госпиталя в танкисты. Один лейтенант нам рассказывал о нем в сорок третьем году, уже после Сталинграда. Он его видел, и вроде тот и меня вспоминал, и папу твоего, и часть нашу, и еще

говорил, что он из наших мест, из городка нашего, что в сорок первом попал к родственникам на Украину, а родителей его немцы тут поубивали...»

IX

– Все могу понять, все, – говорил Акоп Христофорович, – но одного только, дорогой Вячеслав Алексеевич, понять не могу. Не первый раз на ваших операциях. И сейчас вот. Сколько? Час сорок? Час сорок смотрел я на ваши руки. Это не операция, а симфония. У вас же руки скрипача тончайшего! Руки художника! Паустовского, Бурденко, Клиберна, не знаю уж кого, но поверьте, вы доставили мне, немолодому медицинскому чинуше, когда-то подававшему надежды в урологии, наслаждение! И это не в первый раз – но сегодня особенно. Ведь парень этот был кончен, признайтесь, кончен, если бы не вы... А вы!..

У обрусевшего очень давно Акопа Христофоровича не хватало горячих армянских эмоций, он потерял их давным-давно на российских землях, и здесь, где он уже тридцать лет, с довоенных еще времен пестует эту больницу, а тут его прорвало:

– Ну, как можно было бросить докторскую вам, человеку, у которого не только руки хирурга, но и талант, признанный, зафиксированный, так сказать, официально, ведь анастомоз по Кириллову, разве это не признание? бы...

Вячеслав Алексеевич не знал, что тут нужно говорить. Чтобы увести разговор от неприятного для него предмета и как-то разрядить обстановку, сказал:

– С бельем у нас плохо, Акоп Христофорович. Вот и сейчас, даже во время операции. Сами видели...

Это подействовало, но только на первых порах:

– Слушайте, дорогой мой, а что делать? Триста килограммов белья в сутки на двух прачек. А сейчас одна уходит. Я уже в райисполкоме и в райкоме тысячу раз говорил: «Дайте мне прачечную!» А так? Прямо жалко наших прачек. Зарплата у них та же, что у санитарки, а трудов. И я понимаю их. Уж лучше в санитарки податься или в уборщицы... Вот так. Но мы это наладим, Вячеслав Алексеевич, непременно наладим! А сейчас я все-таки хочу вернуться к началу. Так как же с докторской? Как вы ее назвали, дай бог памяти?

– Да какое это имеет значение? – отговаривался Вячеслав Алексеевич.

Он был очень милый человек, Акоп Христофорович. И главное – врач отличный, особенно сейчас, когда их больнице подчинили весь район. Главный врач больницы – это безумная должность, а главный врач района – это просто непостижимо. Своя районная больница, пять больниц в городах и поселках, двадцать пять фельдшерских пунктов – и все под началом Оганесяна, и всюду у него свои хлопоты и заботы, включая то же белье, и на все Акопа Христофоровича хватает. Позавчера Вячеслав Алексеевич был свидетелем того, как Оганесян собирал у себя молодых специалистов – фельдшеров, точнее, фельдшериц, молодых, посланных в колхозы и совхозы, как говорил с ними. К каждой девочке у него был свой подход и тут же решение. То он звонил директору совхоза, чтобы отремонтировали помещение фельдшерского пункта, то просил кого-то пилить двухметровку для печки, то – дать лошадь, то – бланки бюллетеней в печать! Вячеслав Алексеевич поражался, глядя на Оганесяна. Главврачу уже под шестьдесят. Инфаркт был. Да, пожалуй, он сам не смог бы так.

– Как – какое значение? – говорил между тем Акоп Христофорович. – Огромное! В медицине у нас масса бездарностей, вот и ваш покорный слуга, в частности. Знаете, когда я кандидатскую защитил? В тридцать седьмом, еще до войны! И успокоился, и закрутился по адмхозлинии, а время, чувствую, обгоняет меня. Медицина и вообще наука идет вперед, и тут нужны таланты, таланты! – Акоп Христофорович передохнул и добавил: – Как вы! Так как вы называли свою докторскую?

Я же спрашивал вас... Будьте любезны, дорогой!

Вячеславу Алексеевичу не хотелось говорить об этом – он давно решил не думать о том, что было вчера, и разговор этот волей-неволей бередел душу и вызывал малоприятные воспоминания, но он решил не обижать Оганесяна:

– Кандидатская у меня называлась: «Новый вид анастомоза при тетрада фалло», – сказал он. – Ну и докторская вроде как бы продолжение в этом плане...

– Не морочьте голову! – уже совсем спокойно сказал Оганесян. – Я-то знаю, тоже за литературой слежу. А разработка постоянного зонда в сердце – это что? Вы и у нас дважды делали. А ведь этого, дорогой, ни в Европе, ни в Америке пока нет. А вы «как бы продолжение в этом плане». Это не продолжение, а начало, и анастомоз по Кириллову – начало всех начал...

Они вышли на улицу и остановились у ворот больницы. Так и стояли здесь, вдыхая свежий ночной воздух и тишину, опустившуюся на город.

Город спал, но не просто так, а как бы в ожидании весны. Морозец затянул растаявший под дневным солнцем снег, покрыл льдом лужицы, сковал грязь. Изредка потрескивали деревья под самым малым дуновением ветра, потрескивали не нутром своим, как зимой, а корой, кожей, которая днем оттаивала и уже готова была принять весну. И если днем обманчивая весна заявляла о себе, то к вечеру и к ночи о ней уже никто не вспоминал. Воздух был морозен и чист по-зимнему, и, наверное, Акоп Христофорович и Вячеслав Алексеевич потому и не спешили сейчас. Такие ночные прогулки у них случались нечасто.

Операция, верно, прошла неплохо, и, пожалуй, она не была такой уж сложной, как кажется Акопу Христофоровичу, скорее она была хлопотной – у Еремеева сразу несколько переломов, один открытый, а самое страшное – глаз и позвоночник.

Быть теперь солдату калекой – это Вячеслав Алексеевич, увы, знал точно.

Жаль, что Саши Неродовой не было. Ее не нашли. С ней оперировать куда проще: не приходится отвлекаться на слова, а сегодня приходилось, и много раз, но дежурные сестры делали все, что нужно.

– А Неродову так и не нашли, – произнес Акоп Христофорович, словно угадывая его мысли, и Вячеслав Алексеевич почему-то смутился. Он тоже думал о Саше и даже покраснел, хорошо, что темно...

– Каждый человек имеет право на личную жизнь, – сказал он неопределенно и, может быть, несколько отвлеченно, потому что относил сейчас это только к Саше, только к ней...

– Люблю все это! – вздохнул Акоп Христофорович. – Вот не поверите, как художник люблю. Только что рисовать не умею. И весну эту запоздалую, и городишко наш маленький, и вообще. Мои армяне удивляются, все в Ереван зовут, а у меня дом-то тут. И город этот, и больница, и все. Вот по ночам сижу, пописываю, как вы подсказали. Помните? Все, как было в нашей районной медицине, как стало, к чему придем. Удивительное это дело – мы, люди. Мотаешься, клянешь порой все на свете, и там у нас плохо, и здесь плохо, и всюду неладно, а сейчас пишу историю медицины нашего района, с чего она начиналась раньше и какой была уже при мне, и поражаюсь. Что мы сделали за эти годы! И гордость, именно гордость тебя за душу берет! Какие там, к черту, прачки и прочие проблемы! Не было этих проблем десять, двадцать лет назад, а уж раньше – и говорить нечего! А то, что сейчас есть, – слава богу! Значит, не зря мы трубили, раз медицинское обслуживание наладили, да такое, что только и решай, где чего не хватает, где что упущено, где какой дурак лошадь фельдшернице дал, чтобы она профилактикой в семи отделениях совхоза занималась...

Нет, определенно Вячеслав Алексеевич был влюблен в Оганесяна. И принял его год назад Акоп Христофорович хорошо, тактично, ни о чем не спрашивал. Другой на его месте и принял бы, но где-то мог обронить какую-то фразу, слово наконец, глядишь, и пошла бы по больнице молва, а может, и сразу две. Одна сочувственная – «Как, мол, такого?» и так далее, и другая, ехидная, тихая: «А вы знаете, что Вячеслав Алексеевич был благодарен Оганесяну». Не было и третьего, о чем сегодня опять заговорил Акоп Христофорович: никаких слухов о роли

Кириллова в медицине. Никто не знал этой роли, никто ни о чем не спрашивал, а однажды прозвучавший вопрос об анастомозе по Кириллову на общерайонном совещании работников здравоохранения очень не трудно было ответить. Мало ли Кирилловых на свете! И Оганесян, сидевший в президиуме и все знавший, понял и принял ответ Вячеслава Алексеевича, понял как надо, и только у Саши тогда, сидевшей в первом ряду, вдруг потухли вспыхнувшие было, как ему показалось, глаза.

А может, это лишь показалось? И не надо так часто вспоминать Сашу и думать о ней. Вот сегодня он особенно ясно понял это. Да, у каждого человека есть право на личную жизнь. И у Саши – оно свое, недоступное ему и далекое, но оно есть, и, наверное, у нее свое счастье, и у нее все хорошо. И так должно быть.

Вячеслав Алексеевич вдруг вспомнил, что Саша просила его написать в стенгазету. Даже подсказать что-то обещала, но не успела, да это и не важно. Сегодня же напишет. Не надо ее подводить. И секретарь комсомольской организации она, и просто – не надо подводить. Сейчас он придет домой и напишет.

Теперь все встанет на свои места. Вячеслав Алексеевич думал о Саше только в связи с операцией и стенгазетой. Только. Вывод – заметка. Второе, что же второе? Да, Москва. Он не поедет туда. И дело вовсе не в диссертации, о чем говорил Оганесян. Из-за диссертации он и так бы не поехал. Он не поедет в прежний дом, просто сообщит Ирине, что не возражает против развода. И когда он собрался поехать, – это была глупость, конечно, – ему казалось, что он может в чем-то переубедить ее, что-то доказать, но хорошо, что он этого не сделал. Как это ни странно, его остановила Саша, хотя она об этом и не подозревает. Невольно уберегла его от глупого шага. И пусть он был только чуть-чуть не в себе, но ведь он мог сесть в автобус, и хотя, может быть, еще не доехав до дому, понял бы, что делает явную глупость, но было бы уже поздно, и он все равно пришел бы к Ирине, и начался бы у них очередной дурацкий разговор, усмехнулся Вячеслав Алексеевич.

Впрочем, он и не очень-то сердится на Ирину. Нет, не надо ни на кого сердиться. Люди есть люди, и их надо воспринимать так – с их плюсами и минусами; и не ее вина, а его, что он когда-то выбрал ее. Тогда по молодости все было иначе, а может, и не в молодости дело, а просто: семья – это куда сложнее, чем просто влюбленность. Ему хотелось детей. Ирине не хотелось. И она была в чем-то разумнее его, потому что думала вроде бы не о себе, а о нем. Ведь это ему надо было закончить институт, потом кандидатскую... Надо было! И дети, конечно, помешали бы. Во всяком случае, не помогли. Все равно он кончал институт, потом защищал диссертацию, и она, Ирина, вроде была права, но он не мог спросить ее о том, что мучило его. Почему она так печется о нем? Словно вся ставка идет только на него. А сама? Средняя школа. Два года лаборанткой, и все. Дом, а дома детей нет. Он не говорил с ней никогда об этом. Не говорил потому, что всегда считал, что человек все сам понимает, а если не понимает, то заставить его, переубедить – невозможно. Ирина раздражала его, сердила, но за все время он сорвался лишь раз. Ирина ничего не поняла в этой идиотской борьбе, которая была затеяна в институте перед защитой докторской, не поняла и того, почему он бросил институт и клинику, бросил диссертацию и решил уехать сюда. Как раз тогда она была очень нужна ему, и ему хотелось верить, что она его поймет, поймет все – несправедливость свершившегося и правильно оценит его шаг: уйти, уехать. Он звал ее с собой. Она не поехала. Он пытался ей все объяснить. Она не хотела понимать. Ей нужна была его докторская куда больше, чем ему самому.

Пусть так. Он уехал. Пусть так. Они расстались и, если нужно, разойдутся по закону. Она устроит себе жизнь по своему желанию. А у него есть работа, и это главное, здесь он нужен, здесь он находит удовлетворение в деле, вот даже милого Оганесяна он заставил писать историю больницы, и вообще все хорошо. И не надо делать попыток вернуться к прошлому. Надо написать Ирине... И заметку для Саши. И все...

Х

– Мить, а Мить?

– Ну, что тебе?

– Скажи, ты меня хоть чуточку любишь?

– Чего это ты? Давай спать!

– Нет, ты скажи, скажи! Для меня это очень важно!

– И чего это тебя повело? – Митя уже задремал, и ему не хотелось просыпаться. Но Саша обняла его и настаивала.

– Ну, конечно, а как же еще? – произнес он сквозь сон. – Давай и правда спать! Поздно ведь. Пришла бы пораньше...

А Саша не успокаивалась, никак не могла успокоиться и все продолжала теребить его вопросами:

– А почему ты так? Сначала вроде ласковый со мной, а потом сразу меняешься?

– Ничего я не меняюсь...

– Нет, ты скажи, скажи! – повторяла Саша. – Вот пришла к тебе, и ты вроде ждал, хотя и отругал меня, и все же я думала, что нужна тебе, и так было... А сейчас? Сейчас ты уже совсем другой, чужой и... И спишь...

Саша словно цеплялась за что-то последнее, во что уже сама не верила, но все же цеплялась, и ей казалось, что может случиться чудо и все переменится, стоит только Мите сказать ей самое малое, то, что она ждала уже много лет, или просто спросить ее о чем-то. Или сказать: «Давай в Москву съездим, ты – в свою Третьяковку, а я...» Пусть так! Или повернуться к ней лицом и положить руку на плечо, и произнести то же: «Давай спать», но по-другому, ласково, и добавить: «Ну, ведь знаешь же, что люблю». Или... Или... Или...

Любое «или» Саша восприняла бы сейчас как откровение, окончательно решавшее все.

Но Митя лежал к ней спиной и, кажется, спал.

– Не морочь голову, – пробормотал он, – давай...

Саша замерла, стараясь не шевелиться. Левая рука ее лежала на Митиной щеке. Она и раньше не раз гладила его колючие щеки, но сейчас вдруг подумала, что не побрился к ее приходу, хотя время у него было, ведь он говорил, что долго ждал ее. Раньше он всегда приходил к ней чисто выбритым, и когда она приходила к нему, тоже успевал побриться, а однажды не успел, и она застала его в мыле, недобритым, и обрадовалась, заметив, что он, кажется, смутился.

Но это было уже давно, не в прошлом году, во всяком случае. Сейчас щека его была небрита, и вообще он давно встречал ее так, словно ничего и не было у них, словно привык к тому, что она есть и все так и должно быть. И рука ее сейчас... Он не чувствовал ее.

Саша боялась пошевелить хоть одним пальцем, и ей было неудобно так, но она лежала, не двигаясь, пока рука окончательно не затекла.

Она не хотела приходить сегодня сюда. Но пришла и вот осталась. Зачем?

«От мамы скрывала про Митю, – думала Саша. – Мама ничего о нем не знала, а мы тогда... Лучше бы все рассказать ей...»

Саша убрала руку с Митиной щеки, когда он захрапел. И опять замерла. Не хотелось беспокоить его. Потом еще долго лежала. Уснуть она не могла, все ждала чего-то, и путаница мыслей мешала ей, а мысли крутились, вертелись в голове, перескакивая и сталкиваясь, противореча одна другой, и вновь возникали новые, не связанные с тем, о чем она только что думала.

В четвертом часу уже начало светать. Где-то на окраинах города пропели сонливо первые петухи, а потом и машины тронулись из автоколонны в дальние рейсы – за Можайским молоком, пороховским кирпичом, калужской водкой, московскими апельсинами и лимонами...

Может быть, и в универмаг что-нибудь интересное привезут. Здесь появляются иногда товары, которые и в Москве непросто найти...

На улице уже начинали галдеть галки. Они народились в этом году, как положено, но весна спутала карты, и галки страдали не столько от холода, сколько от голода – ни червей тебе, ни гусениц, ни мошек! – тянулись к жилью, к людям, неистово попрошайничая. И люди подкармливали галок, и Саша кормила их и дома, и в больнице, и вот даже тут, у Мити, когда приходила к нему.

Саша не любила приходить сюда, потому что в доме было много людей, и все знали ее, и еще потому, что сосед Мити по квартире – районный фининспектор – часто лежал в больнице, не в их хирургии, а в терапии, но это все равно; он ругал медицину и всех врачей, начиная с Акопа Христофоровича, о котором и понятия не имел, а ей было обидно за главного врача, потому что таких врачей и людей на свете не так уж много, а Акуп Христофорович и совсем особенный.

Митя повернулся во сне, скинул одеяло, и Саша воспользовалась этим, будто ждала, вынырнула из постели на холодный пол. Прикрыла Митю, подправила ему подушку и начала одеваться.

Половицы скрипели, как назло, и Саша вздрагивала, боясь, что разбудит фининспектора в соседней комнате, а тут еще она задела стул и тот загремел.

Когда она оделась, было уже совсем светло и можно было спокойно найти бумагу, которая ей сейчас была нужна.

На Митином столе бумаги не было. Она открыла стол – ящик за ящиком, но и там не нашла ни листка. А Саше нужен был сейчас хотя бы клочок бумаги, потому что она все решила и решенное требовало завершения.

Наконец она нашла. На окне. Маленький желтый бланк расписания сеансов в кино. Расписание было старое и Мите не нужное.

Сейчас Саша уже вовсе не была похожа на запуганного нахохлившегося воробышку. Ей даже малый рост не мешал. Она взяла карандаш и написала на обороте расписания: «М. Я больше не приду. Не сердись! И ты не приходи! Прошу! Саша».

Еще и еще раз прочитав написанное, она оставила бумажку на столе и на цыпочках пошла к вешалке. Накинула платок. Надела пальто. Потом вернулась к столу и порвала записку.

«И так поймет, – решила она про себя, – а если не поймет, значит, все равно».

XI

К концу апреля потеплело. Зацвели вербы, ольха и орешник, трава и желтые одуванчики появились вдоль ручейков и луж, на сухих полянках и бугорках, прилетели грачи, и только деревья еще стояли раздетые, с готовыми вот-вот раскрыться почками, но пока не спешили, боясь ночных заморозков. А по ночам продолжало морозить.

После первых дождей снег сходил быстро, и лед на реке уже не виден был под талыми водами, которые бежали со всех пригорков вдоль улиц и тротуаров, а то и пересекая их, вниз, смывая прошлогоднюю грязь, неся в потоке и старую листву, конский навоз и автомобильные масла.

Городок ожил, засуетился в весенних хлопотах – уличных и огородных, и крошечный рынок его стал местом паломничества, он расцвел рассадой и саженцами, загудел голосами дальних приезжих продавцов и местных покупателей, запах конским потом и зеленью, бензином и кислым молоком, нафталином отдыхавших всю зиму одежд, и одеколоном, и землей, и старой картошкой. И ко всему этому были еще запахи весны, каждый раз неповторимые в своей новизне. Вот и в этом году особые, ибо тепло, талость и холод соседствовали и перемешивались в них и сливались во что-то одно.

Неизвестно почему Вячеслав Алексеевич пошел бродить сейчас по городу. Пошел просто так, хотя собирался поспать после ночных перипетий в больнице, а ночь нынче была напряженной – три операции подряд и потом еще в родильном отделении – кесарево сечение. Но Вячеславу Алексеевичу не спалось, и он вышел в город. В конце концов, на дежурство нескоро, вечером успеет отдохнуть.

И не пожалел, что поступил так.

Вячеслав Алексеевич потолкался на рынке, съел там с удовольствием пару пирожков с капустой, а потом спустился к реке и долго смотрел на воду. Мерное течение воды успокаивало, вызывало какие-то смутные воспоминания...

Одни, говорят, любят смотреть на огонь, ибо он, огонь, вызывает у них толчки мысли и жажду деятельности. Вячеслав Алексеевич где-то читал об этом, кажется, у Горького. Другие смотрят на небо, звездное или солнечное, а оно вызывает у них стремление понять непонятное и познать свое собственное «я», а у третьих это «я», как фотоснимок, проявляется при дождливой дурной погоде, и тихий, спокойный дождь зовет их куда-то. Да мало ли какие тут еще варианты есть! Все это, конечно, то, что называется «чуждинкой», то есть тягой к необычному и осуждаемому, может быть, другими, но такие «чуждинки» свойственны всем людям, и у Вячеслава Алексеевича такой «чуждинкой» была вода. Вода в реке и в море, иногда в малом ручье или даже текущая из-под крана, но именно текущая, а не стоячая. Что-то было в этом с детства, очень далекого, связанного, может быть, вот с этой рекой, но не такой обмелевшей и заросшей, как сейчас, и с украинскими речками вдоль дубрав, куда он попал в войну, и еще с тем, как его спасали после первого ранения; был таз, из которого струйкой текла вода, а потом – кровь, льющаяся так же, струйкой в прозрачную колбу, а из нее ему в руку, и она текла медленно-медленно, как сейчас талые воды текут по льду не вскрывшейся еще реки...

О чем это он думал сейчас? Да. Вот, Оганесян, например. Ведь он совсем уже не молод и, как сам признается, поотстал в медицине, но сколько в этом человеке доброй энергии и бескорыстия. Потому он и встретил так Вячеслава Алексеевича, заставил его и здесь заниматься хоть немного наукой, а теперь вот ругает за отказ от докторской.

– Я-то лично, как вы понимаете, дорогой, никак не заинтересован в этом, – говорил Акоп Христофорович. – Ну, что? Защитите вы докторскую, и заберут у меня вас, заберут лучшего хирурга, и с чем я останусь? Но мне науку жалко, вас, наконец, жалко! Нельзя так! А мне все равно доживать здесь, крутиться и вот историю для потомков написать, как вы посоветовали, успеть бы.

Казалось, люди, работавшие с ним в Москве, в институте и клинике, такие же. Тоже не очень молоды, хотя и моложе Акопа Христофоровича, тоже с кандидатскими довоенных лет, которые утешили и успокоили их на все многие десятилетия вперед, вплоть до пенсии. Они так же, как и он сейчас, резали аппендиксы и делали другие простейшие операции, лечили дедовскими методами старух и стариков, и им никто не мешал. За год они выдавали одну, в лучшем случае две научные работы на весь институт, и Вячеслав Алексеевич поначалу вовсе не посягал на их тихую, обычную для десятков подобных медицинских учреждений, жизнь. Пусть так и будет для них, но себе он не мог позволить этого. Он специально занялся врожденными пороками сердца у детей. Новый вид анастомоза он испытывал именно тогда. И все шло хорошо, и все его поздравляли, пока он не разработал постоянный зонд в сердце. Уже потом, и не без посторонней подсказки, он решил, что это может стать темой докторской. А так он просто занимался делом, и его радовало, что прежние, казалось бы, обреченные больные вставали на ноги, и клиника теперь выдавала уже по пять-шесть научных работ в год.

Но вот тут-то все и началось. Сначала исподволь, как бы в порядке туманных намеков и замечаний, а потом и в открытую. И если прежде смертный случай у того или иного врача, да и у него самого, не являлся чем-то чрезвычайным, ибо смерть – всегда есть смерть, то здесь вокруг его порой неудачных операций начали шушукаться. Вот вам, дескать, и новый метод.

То ли это была зависть, то ли чувство самосохранения, трудно сказать, особенно когда вокруг тебя одни женщины, и все немолодые, и заведующая клиникой – женщина, обиженная жизнью и судьбой. Кто-то намекал ему, что бояться его докторской именно поэтому. Если он защитит диссертацию, то уж, конечно, станет заведующим. Но, право, Вячеслав Алексеевич никогда не стремился к этому. Более того, он привык с уважением относиться к старшим, вне зависимости от их возраста и достоинства, так же он относился и к заведующей. Но понять ее логику он не мог. И не хотел. На него посыпались анонимки, где говорилось, что кардиохирург в последнее время, помимо всего, начал злоупотреблять спиртными напитками, что кто-то где-то видел раз и два, что и после операции он иногда позволяет себе пить чистый спирт.

Вячеслава Алексеевича пытались вызвать на откровенный разговор и в институте, где он должен был защищать диссертацию, и в министерстве, где разводили руками, явно сочувствуя, но он проявил характер. Он отказался от диссертации и попросил направить его на работу в районную больницу, сюда, где он когда-то родился и куда не раз собирался съездить после войны. Новый министр, сам хирург, отлично знавший Кириллова, тоже не смог отговорить его.

Здесь, в больнице, ему было просто. Люди были заняты делом и судили друг о друге по делам, и не было ни зависти, ни подсиживаний, и к Вячеславу Алексеевичу относились, как ко всем, может быть, лишь с чуть большим вниманием, раз он приехал из Москвы. Да и то это было на первых порах. И самое главное – был Оганесян.

Тон, конечно, задавал Акоп Христофорович, которого почитали главным не по должности, а по существу, а что касается его должности, то знали и видели: больше, чем он, никто не работает, больше, чем ему, никому не достается.

Вячеслав Алексеевич обычно трудно сходилась с людьми. Мешала застенчивость, а может быть, и настороженность, появившаяся с годами, когда, увы, приходилось в ком-то разочаровываться. Но с Оганесяном он мог бы сойтись. Мешало другое. Оганесян, конечно, знал причины отъезда Вячеслава Алексеевича из Москвы. А если и не знал поначалу, то узнал потом: он часто бывал в Москве по делам и вряд ли там – в облздравотделе или министерстве не заходила речь о Кириллове. Там могли говорить всякое, Вячеслав Алексеевич прекрасно понимал это. И в этой ситуации пойти на откровенность с Акопом Христофоровичем – волей-неволей значило жаловаться, оправдываться, доказывать свою правоту и неправоту других, чего Вячеслав Алексеевич терпеть не мог ни в себе, ни в других местных «борцах за справедливость», которые практически боролись всегда не за справедливость вообще, а за свою справедливость, то есть за себя. Вячеслав Алексеевич не хитрил перед Оганесяном. Не говорил, что отложил защиту, поняв, что в диссертации мало практического материала, что приехал сюда, мол, как раз для того, чтобы еще и еще все проверить на опыте типичного массового лечебного учреждения. Он говорил проще: «Куда спешить? Успеется!» и что-то еще в этом духе. И Оганесян не стремился вызвать его на откровенность, хотя мог бы сказать: «Не морочьте мне голову, дорогой! Если б не было там у вас в клинике этой дурацкой склоки, вы прекрасно защитили бы докторскую и не делали из себя наивного скромника, и не говорили: “успеется”!»

Но Оганесян не говорил так. И спасибо ему.

Но, что греха таить, думал Вячеслав Алексеевич и о другом. И сейчас, стоя на берегу весенней речки, думал и раньше не раз после приезда сюда. Он всегда гнал мысль об одиночестве, но в последние годы это одиночество все больше давало знать о себе. Он собирался в Москву, чтобы еще раз поговорить с Ириной, которую в глубине души жалел... И вот тогда этот вечер. Саша Неродова, лучшая из сестер и вообще умница, чудо-человек – у него дома...

Сашу он приметил с первых дней работы в больнице, и ему показалось, что в этой девочке есть что-то особое, притягательное, а позже он увидел ее на операции и понял, что вовсе она не девочка, а опытный медик, какими нечасто бывают врачи и чаще, но тоже не всегда, сестры.

Но самое удивительное, это было Сашино лицо. Вячеславу Алексеевичу казалось, что он знал его, знал давно, и не только лицо, а и весь облик, манеры, разговор, что это было

знакомо издавна. Логика подсказывала: это не так. Саша молода, совсем еще молода. Она росла и училась здесь, где он не был после войны, а до войны Саши не было на свете. Но сколько раз он думал, что видел ее, видел! И вот, когда она пришла к нему случайно и, сама того не подозревая, помогла принять правильное решение – не ехать в Москву, он окончательно понял: она близка ему и знакома давно, и он много раз думал о ней, вспоминал, звал ее по ночам, делился с ней дурным и хорошим и сейчас мог бы. Оганесяну не мог бы, а ей мог бы рассказать обо всем, что наболело, и, он уверен, она поняла бы и не стала бы жалеть и сочувствовать, а просто сказала, что все это правильно. Она, Саша, ведь очень умная девочка, не похожая на других в больнице, хотя здесь вроде и нет плохих людей.

Сквозь пасмурную дымку робко выступило и засветило солнце. На отмелях запели птицы, и вода в реке, кажется, потекла быстрее, и громче зажурчали ручьи, а лягушки, освещенные солнцем, лениво шевелясь, уходили под воду. И уже не торчали из воды их головы и страшно выпученные глаза.

Вячеслав Алексеевич встал с березы, поваленной прошлогодней грозой, и стал подниматься вверх, к рынку. Ручьи гремели возле его ног, и все они неслись оттуда сверху, от города и от рынка.

Поднявшись наверх, Вячеслав Алексеевич не мог отказать себе в удовольствии еще раз пройтись по рыночным рядам. Он прислушивался к голосам. И верно, тут царил интернационализм – грузины, украинцы, белорусы, русские, молдаване, даже узбеки, продающие прошлогодний свежий виноград. Марксов закон стоимости... Спрос вызывал предложения. Предложения диктовали цену. Накладные расходы заезжих продавцов взвинчивали цены и вызывали порой скандалы. Огурцы из Цхинвали стоили в два раза дороже Можайских, хотя и те, и другие выращивались в парниках. Апельсины, купленные в Москве, продавались по двойной цене, пока не выяснилось, что рядом с рынком в магазине и на лотках продаются такие же апельсины из Москвы. Шампиньоны все обходили, поскольку никто из местных жителей не считал их грибами, зато сушеные грибы шли бойко. Грибы привозные. Странно. А сколько этих грибов здесь – только суши!

Он уже собирался уходить с завернутыми в бумагу пирожками в руке, чтобы дома ничего не придумывать и в столовую не ходить, как ему показалось, что кто-то очень знакомый прошел с тремя саженцами мимо него, и он невольно спрятал за спину пирожки и посмотрел вслед уходящему. Неужели это Акоп Христофорович! Но к чему ему саженцы? У него ни сада нет, ни огорода, ни дома своего!

Подумав об Оганесяне, Вячеслав Алексеевич вернулся на рынок, прошел к москательной лавке, возле которой торговали саженцами, торопливо съел пирожки, а потом долго выбирал березки.

«Посажу у нашей хирургии, там как раз есть где, – думал он. – За чудака посчитают? Ну и пусть».

Он с гордостью нес эти три березки через весь город. С гордостью и с немалым смущением, потому что знал: не все благие порывы понимаются правильно.

ХП

В последние дни Саша почти не отходила от Еремеева. Даже после дежурства. И в майские праздники. На ночь трижды оставалась. И днем забегала в послеоперационную чаще, чем обычно. И не оттого, что Еремеев был плох. Он поправлялся, но вот моральный фактор... С этой точки зрения у Еремеева все шло как нельзя хуже. Это знали все, в том числе и врачи, и офицеры из части, где служил Еремеев. Саша понимала – чем чаще приезжают к нему его товарищи по службе, тем хуже для него. Солдат, что бы ни говорили ему, знает, что уже не будет солдатом.

Еремеев замкнулся. Но почему? Потому что, став калекой, он не вернется в родную часть? Может, так, но лишь чуть-чуть так. О какой уж тут армейской службе можно думать, когда ты чудом в живых остался? Значит, не это. Значит, он понимает, что будет там. А там – это отец с матерью в Калининской области. Он просил ничего не сообщать им о случившемся, чтобы не приезжали, хотя это и рядом совсем. И там же, там – за пределами бывшей службы, и в преддверии всего нового, что его теперь ждет и не ждет – она, Лена...

Лена каждый день приходит в отделение, но к Еремееву и не заглянет. Когда была очередь ее ночного дежурства, специально подменилась, чтобы не заходить в послеоперационную. Стыдно, ужасно, глупо, возмутительно! Так думает Саша, но Саша думает, а Лена...

Саша говорила с Леной, трижды говорила.

– И не пойду, не думай! Что ты хочешь, чтобы я его травмировала?

Это было в первый раз.

Саша думала о Лене и еще больше о матери ее, Нине Петровне, и вспоминала свою маму. Пусть Лена смеется: «Мама, папа, это же наивно». Пусть будет наивно!

– Ты что, Сашка, дурочка? Человек пострадал, понимаешь, пострадал? А тут я со своим ребенком.

Это – во второй раз.

В третий раз все было куда непонятнее.

– Он же калекой на всю жизнь останется! Думаешь, я не знаю? Так что – мне в сиделки к нему? Ребенок – и тут же калека на содержании! Нет, уж изволь! Уж лучше ребенок! С ним жизнь не потеряю!

Саша ничего не сказала Лене, но стала все чаще и чаще ходить к Еремееву.

Со слов нянечек Саша знала, что на первых порах солдат все время вспоминал Лену, звал ее, но сейчас, при ней, он ни разу не вспоминал ее. И вообще молчал.

Единственным поводом для разговора у них стало окно.

Поначалу Сашу пугало это окно. У Еремеева теперь один глаз, другой закрыт тугой повязкой, и больной не привык еще к этому, и, может, не надо его беречь.

Но Еремеев, молчавший долгое время, сам спросил Сашу:

– А там, за окном, что сейчас?

Что там, за окном? Сейчас, сегодня, сию минуту?

Борьба весны с зимой была за окном. Прогревался воздух, голубело небо, дотаивал снег, ударила первая апрельская гроза, перед которой дико кричали и суеились галки – молодые, глупые, еще не испытавшие в своей жизни ни одной грозы.

Синицы и поползни заглядывали в окно, и где-то совсем рядом, на сухом дереве, как на пишущей машинке, долбил дятел, а по утрам, когда плохо спалось, совсем не близко, в парке, наверное, или скорей в сохранившемся за рекой лесу куковала кукушка и лаяли собаки на окраинах, чутко прислушиваясь к ленивому кукареканью полусонных петухов.

В мае, уже после праздников, когда совсем потеплело, лопнули почки и бледная, еле заметная зелень появилась на деревьях.

– Хорошо, когда у человека глаз есть, на все свой, – говорил, помолчав, Еремеев. – Я не о своем, о другом. Вот вы все замечаете, видите и рассказать можете. А я и при двух глазах мимо всего проходил.

Потом как-то спросил:

– А как вы думаете: вот художники, писатели, как они все это видят? Ну, вот, как вы, в окно? И как это объяснить можно? Что, человек родится таким или ему специально надо учиться?

Он никак не называл Сашу, хотя знал ее имя.

– Вы учились? – спрашивал Еремеев. Саша пожимала плечами:

– Как все...

– А этому, чтоб понимать все и видеть? Как художница, что ли?

Саша смущалась. Она ничему не училась. Она просто бывала в Москве – в Третьяковке, в музее Пушкина, на выставках. Это очень интересно, и Еремееву надо обязательно...

Она удивлялась, что Еремеев никогда нигде не был, рассказывала ему, как могла, про любимых художников, про картины, которые помнила и знала наизусть...

– Я в Мавзолее и то не был, – признался ей Еремеев, – и на Могиле Неизвестного Солдата, и картины мне хочется посмотреть...

Саше чем-то нравился этот Еремеев. Саша никак не могла отделаться от мысли, что с Леной его трудно сравнивать, хотя они сами нашли друг друга, и что-то было у них общее, хотя Лена теперь не хочет знать Еремеева... Нет, Еремеев просто интересный как человек, а Лена как человек... Саша не знала, что думать сейчас о Лене и как судить, потому что здраво она судить никак не могла, хотя и пыталась понять Лену и жалела ее...

Еремеева Саша тоже жалела. Вообще, говорят, все сестры очень жалостливы, не то что врачи. Кто это говорил? Оганесян, конечно. Акоп Христофорович, когда они кончили училище. Он тогда смешно говорил об этом, и все они, девчонки, смеялись, но Саше это запомнилось.

– Вот вы теперь так называемый средний медперсонал. Не бойтесь этого слова «средний» – оно хорошее. Есть младший медперсонал, и это куда труднее, почетнее и, увы, денег меньше. Мы без вас – ничто. Вы, средние, без младших ничто. Это понятно. Но есть одно, о чем хочу предупредить вас заранее, по многолетнему опыту своему. Медички, особенно сестрички, очень часто влюбляются. Жалостливы они, что хорошо само по себе, но и слишком доверчивы, что уже, простите... Опыта мало, дорогие мои, не медицинского, а жизненного. И вот по секрету вам скажу: пятый выпуск сегодня наш в училище, а вспомню предыдущие: беда! Каждая вторая моя выпускница нормальной жизни себе не устроила. Будьте жалостливы к больным, внимательны, чутки, но по части доверчивости... Прошу ухо держать востро, а нос – морковкой. Мы, дескать, тоже не лыком шиты, женщины! А у женщин, как бы сказал поэт, собственная гордость. Ведь это вы нас, мужиков, породили!

Может, Саша к Еремееву слишком жалостлива? А Лена? Саша увидела Еремеева только здесь. А Лена? Лена Михайлова тоже медичка, и для нее Еремеев не просто больной, а теперь вроде и не больной никакой, раз она не заходит к нему.

И у Саши получалось, что и с Леной сравнивать Еремеева трудно. Надо с кем-то другим, и лучше всего с мужчинами...

Она вспомнила Митю. Митя был умнее Еремеева. Наверное. Интеллигентнее? Тут Саша задумывалась. Как-то так повелось, что интеллигентов определяют сейчас по образованию. А по Сашиному разумению, ни Митя, ни она сама не были интеллигентами. Ну, какой она, к примеру, интеллигент в сравнении с Вячеславом Алексеевичем? И хотя Саша никогда никому не говорила об этом, и, может быть, тут нет никакого открытия особого, но она считала, что интеллигентность – это что-то чуть ли не врожденное, передающееся через эти самые гены, о которых рассказывал Вячеслав Алексеевич, из рода в род, из поколения в поколение.

Митя считал себя интеллигентом. Так он говорил ей как-то. Саша не знала его родителей и вообще ничего не знала о нем, потому что он не рассказывал. Но теперь? С того дня как она ушла от него, он глупо ее преследовал и грозил, а Первого мая пришел к ней домой пьяный и такого наговорил, о чем даже вспоминать стыдно.

А солдат Еремеев? Интеллигент он или нет? Может, и нет, но он молчит, не спрашивает о Лене, хотя наверняка думает о ней. Значит, есть в нем что-то такое, чего нет в других, чего нет, может, и в самой Саше, – что она считает интеллигентным. Он не киномеханик, не врач, не поэт, не художник, но в чем-то он такой же, как Вячеслав Алексеевич.

– Саша!

Еремеев впервые назвал ее по имени.

Саша, кажется, даже растерялась.

– Сашенька, вы слышите меня? – полушепотом спросил Еремеев и взял ее за руку. А она почему-то вспомнила другие руки, которые так часто видела на операциях, при перевязках. На обходах странно было бы специально смотреть на руки Вячеслава Алексеевича, а в операционной и в перевязочной – там не было его, а были его руки, удивительные, живые, тонкие, все понимающие и чувствующие. И тут уже не руки были при нем, а он при этих руках, потому что руки выражали его, как это бывает у самых лучших художников.

Саша спохватилась, сказала, как и он, тихо, чтобы не слышали соседи по палате:

– Конечно, говорите!

– Вы не обижаетесь, что я вас так называю? – спросил он. – У меня сестренка младшая, тоже Саша, так я все стеснялся и думал, ну, как бы не испугать ее, что ли, когда вот такой одноглазый да и не очень здоровый вернусь...

Саша утешала его, утешали соседи по палате, но Еремеев перебил их:

– Я об окне, Саша. Что там за окном появилось?

Видите, деревце?

За окном, а вернее, под окном, ночью появилась березка. И рядом еще две. Странно. Вчера вечером березок не было.

– Березки? – удивленно сказала Саша.

Вспомнила, у главного корпуса поликлиники такие же березки посадил Оганесян. Может, и это его работа?

Саша рассказала Еремееву, какой хороший человек их главный врач. Про березки у главного корпуса рассказала.

Пояснила:

– Я комсорг. Понимаете ли, комсорг? А мне и никому из нас даже в голову не пришло такое. А наш Акоп Христофорович каждый год по деревцу, по два-три сажает. Так, сам по себе. И это, конечно, он. Или сам, или поручил кому.

Березки, которые были видны из окна, еще только приживались. Тонкие, без листьев, с сухими, не набухшими еще почками, они и так были удивительны стройностью и белизной своей и какой-то необычной, почти по-человечески душевной открытостью. Одна веточка, самая тонкая, прикасалась к стеклу, чуть выше подоконника, и за ней, как показалось Саше, мелькнуло чье-то лицо.

Теперь Еремеев сжал ее руку так больно, что хрустнули пальцы, и Саша стерпела.

– Сашенька, – прошептал он.

– Что?

– Вы хорошая... Вы даже не знаете, какая вы... Хотите, я вам что-то скажу? Можно?

– Можно, – ответила Саша, радуясь тому, что Еремеев становится совсем другим.

– Хотите, чтобы я вас полюбил? – сказал Еремеев. – Так полюбил, что все вам будут завидовать? Я могу, поверьте, могу...

Саша съежилась, потом вдруг погладила руку Еремеева.

– Я знаю, – сказала она. – Я знаю, что вы ее любите... Ее! А меня не надо...

Саша продолжала говорить с Еремеевым, а сама все поглядывала туда, в окно, и опять на минуту или секунду заметила лицо, узнала Лену, а возможно, ей это и почудилось, и Саша отвела взгляд от окна...

Еремеев огорчился, взял свою руку из ее рук, и тогда Саша привстала с его койки, наклонилась над ним так, чтобы не видели соседи, и осторожно поцеловала его в небритую щеку.

– Не надо! Хорошо? – шепнула она.

Солдат что-то пробурчал, будто извиняясь, но как раз в эту минуту открылась дверь и в палату вошла Лена Михайлова. В руках у нее был букетик подснежников – белых и лиловых с маленькой веточкой нераспустившейся черемухи.

Она подошла к Саше и Еремееву, который растерялся, ничего не понимая, и Саша сказала:

– Молодец, что пришла.

И встала с кровати Еремеева, уступая место Лене.

– Я подменю тебя, – сказала Лена.

И больше ничего.

ХІІІ

В мае, а особенно к концу его, страшные ураганные ветры обрушились на Подмоскowie. Таких здесь еще не было, а может быть, о них просто забыли, а на памяти у всех были недавние зимние сообщения о песчаных и пыльных бурях на Кубани, Северном Кавказе и в Поволжье, уничтоживших озимые, и о других необычных затеях природы, которые все чаще и чаще поражали людей.

В маленьком городке люди укрепляли антенны, крепче привязывали только что посаженные яблони и вишни, к ночи укрывали чем попало огородные грядки и цветочные клумбы. А ветры продолжали буянить, завывая в трубах и звеня стеклами, врываясь на чердаки и в плохо прикрытые двери, ломая сухие ветки и слабую молодую листву, взметая пыль и песок. В такую погоду люди рано забирались домой и почему-то раньше обычного выключали телевизоры и гасили свет, и уже к одиннадцати часам городок замирал, и только природа оставалась вокруг со всеми своими неповторимыми голосами и звуками.

Выл ветер, и наперекор ему, словно ни с чем на свете не считаясь, пели ночные птицы, и даже в самые грозные порывы ветра нетрудно было различить голос соловья. Странно было слышать его и чувствовать, особенно если представить себе маленькую, легкую, стеснительную птицу именно сейчас, в этом ветровороте, где и как она скрывается и прячется, но соловей пел – упрямо и ласково, то чуть стихая, то вновь выдавая замысловатые коленца, и, казалось, ничто ему не мешало и не могло помешать.

Трещали и содрогались деревья, хлопали калитки, и по асфальту летело что-то металлическое, гулко гремящее и звенящее, а лягушки все продолжали начатые две недели назад свои дикие концерты, и еще к ним, кажется, добавились утиные голоса, редкие ныне в этих краях, но частые именно на их реке, которую утки почему-то заметили еще с прошлого года, когда закончилось строительство плотины и образовалось искусственное море. И этой весной утки во второй раз прилетели сюда, в затопленные овраги и выемки, еще не успевшие порости камышом и осокой, но сохранившие в воде земную зелень – деревца, кустарники и всплывшие на поверхность мхи. И сейчас утки кричали, то ли разбуженные лягушками, то ли вторя им, и криканье, мало отличающееся от лягушачьей истошной музыки, нетрудно было все же разобрать даже в этом ночном ветреном хаосе.

Вячеслав Алексеевич плохо спал по ночам. Видимо, это началось у него с войны, с детства. Тогда сутки не делились на части – утро, день, вечер, ночь, и уж, во всяком случае, понятие режима, которое он потом так долго изучал в медицинском (а позже и советы давал по этой части и до сих пор дает), было другим. Сутки делились на боевые операции и передвижения, которые тоже всегда были частью операции, и хотя он был мальчишкой и его все старшие опекали, как маленького, но и тогда, как и теперь, он не мог поступать иначе. Нельзя спать, если подрывники пошли на «железку». Нельзя спать, если немецкая «рама» кружит над лесом, и неизвестно, что еще будет за этим. Нельзя спать, если готовится новая боевая операция и есть надежда, что тебя подключат к ней. Засыпали, когда просто валились с ног.

Да, конечно, это с тех пор. С тех пор как родители отправили его на Украину, в Рогачки – первое его большое путешествие в жизни. Как привез его туда отец и уехал, он не помнит, и родственников, к которым приехал, не помнит, хотя ему было тогда восемь или девять лет, воз-

раст, в котором все запоминается на всю жизнь, но тут, видимо, было другое – война, захлестнувшая все прежнее! И немцы, вошедшие в город без боя, и лес, куда он убежал и где заблудился, и потом – партизаны, это уже все, как вчера. И главное, может быть, опять Рогачки. Ноябрь сорок второго. Его везли из леса в Рогачки и умоляли: «Не спи! Не спи! Ради бога, не спи!» А он тогда смертельно хотел спать. До сих пор он отчетливо помнит это состояние. Только сейчас он хочет спать и не может, а тогда он проваливался в сон, но его тормозили, будили, трясли: «Нельзя!» Нельзя было спать. И он помнит: именно сон подвел его, когда он чуть задремал в засаде. Немцы стреляли из крупных минометов, и, если бы он не задремал на секунду, он отошел бы назад, в село, как все, но он замешкался, и немцы накрыли его. И вот, когда и так, без него, было плохо, его везли в медсанбат и уговаривали: «Не спи! Не спи!» И только в медсанбате ему разрешили спать. Разрешила женщина в халате, молодая и очень красивая, с небольшими серыми глазами, которые то вспыхивали, то гасли, а то замирали, и в них очень трудно было смотреть. Она спасла его тогда, и ее муж, давший незнакомому мальчишке свою кровь и задержавший выход наших из окружения на время операции, и еще хирург Савва Борисович, погибший при выходе. А ее звали Анна Савельевна. И сколько бы лет ни прошло с тех пор, он помнил ее как первого человека, который разрешил ему тогда спать...

Когда не спалось теперь, Вячеслав Алексеевич относился к этому спокойно, поскольку это касалось только его. Он не употреблял снотворных и находил даже некоторое удовольствие в ночных бессонницах. В глубине души он не соглашался с тем, кто доказывал, что шесть-семь часов сна – минимум для каждого человека.

И в этот вечер, насквозь продуваемый ураганным ветром, Вячеслав Алексеевич не спал. Сначала слушал радио. Потом сделал в блокноте несколько заметок, которые пригодятся Акопу Христофоровичу. Наконец долго стоял у окна, слушая ветер и певшего где-то поблизости соловья, дальних лягушек и уток.

Часы показывали только одиннадцать, и тут у Вячеслава Алексеевича вдруг появилось желание выйти на улицу и, может быть, даже зайти в больницу, пока еще не слишком поздно. Чего ж он тянет? Надо или идти, или не идти. Нет, конечно, идти. Обязательно. Сейчас.

Постучали, но он не расслышал, и тогда стук повторился – сначала в окно, возле которого он стоял, потом в дверь.

Идиот! Какой же он идиот! Ну, что он тянул? Решил и надо было сразу же идти в больницу. Был бы уже там. А теперь кто-то пришел, и весь план рушится. Вячеслав Алексеевич толкнул дверь, она открылась с трудом под напором ветра, и поначалу, услышав слово «можно?», он не понял, кто это.

– Можно? – повторила Саша и добавила: – Это очень плохо, что я так поздно пришла к вам?

Она подчеркнула именно это «к вам», но Вячеслав Алексеевич настолько был растерян, что не понимал ни этого и ничего другого. Он бормотал что-то и размахивал руками, и когда совладал с собой, то Саша уже собиралась уходить. Он бросился за ней, к двери, повторяя:

– Подождите же, подождите! Вы меня не поняли. Я – Саша... Я...

Он ненавидел себя. Саша остановилась.

– А у Лены с Еремеевым все хорошо, – неожиданно сказала она. – Вам ведь это интересно, правда?

– Правда, – согласился Вячеслав Алексеевич, – интересно, очень даже.

– И они даже решили, как назвать своего ребенка, вместе решили, – продолжала Саша.

– Отлично, это отлично, – произнес Вячеслав Алексеевич. – Как же?

Он молот явную чушь сейчас и прекрасно понимал это, и понимал, что если так продолжится еще минуту, то все рухнет, а поэтому надо переломить себя, побороть идиотскую глупость и просто стать самим собой.

– Смешно, но они решили назвать его Сашей, – пояснила Саша. – Мальчик это будет или девочка. А вообще они сказали...

Вячеслав Алексеевич, кажется, взял себя в руки. Сейчас он скажет Саше все. Скажет, что если бы она не пришла к нему, то он все равно пошел бы в больницу и уже собрался идти туда, и тогда Саша все поймет, и кончится наконец это неясное, по крайней мере, для него, если она даже ответит ему, что это глупо, потому что у нее есть человек, которого она любит, она говорила в прошлый раз: «Вот у нас с Митей...» Скажет сама, и тогда он не будет ломать себе голову и мучиться...

– Сашенька! – сказал он. – А...

Они так и стояли у двери, хотя ему, конечно, следовало пригласить Сашу к себе и предложить ей хотя бы сесть.

– Я слушаю, слушаю вас, Вячеслав Алексеевич, – сказала Саша.

– Маму вашу Анной Савельевной звали, да? – спросил он.

Саша не удивилась. Подтвердила:

– Да, Анной Савельевной.

– Я так и знал, – обрадовался Вячеслав Алексеевич. – Я знал ее. Это она спасла меня в войну...

Саша задумалась, поправила волосы.

– Не уходите, прошу вас, – попросил он.

– А почему вы не спрашиваете меня, Вячеслав Алексеевич, ни о чем другом? – в голосе Саши не было ни упрека, ни сожаления. Даже совсем не свойственная ей лихость чувствовалась в ее словах. – Почему я пришла к вам? О Лене Михайловой рассказать? Да я... Простите меня, если... Я ветра этого боюсь и еще... Не могу без вас... Не любить вас я все равно не могу...

Повести о женщинах

Вместо вступления

Для одних война давно закончилась вместе с их жизнью. Для других, живущих, она – недавний, день вчерашний, дающий знать о себе и сегодня...

Эту книгу я назвал «Повести о женщинах», ибо мне хотелось рассказать не просто о войне, которая всегда была мужским делом, а о войне и о женщинах. Пятьсот тысяч их, наших советских женщин, было в сорок первом – сорок пятом в армии, на фронте. Пятьсот тысяч – полмиллиона. И им приходилось куда тяжелее, чем нам, мужикам...

И вот еще что. Когда уже писалась эта книга, я получил письмо. Хочу привести его полностью в том виде, как оно написано:

«Я ни разу не писала в редакцию радио, а вот 28 июня я слышала, что пишется книга о женщинах на войне, и вот я бы хотела пожелать, чтобы в этой книге уделили несколько страниц и другим женщинам. В сорок втором году мы были мобилизованы на трудовой фронт, строго по закону военного времени. Эта строгая повестка и на сегодня у меня сохранилась. Мы были мобилизованы на Балахнинскую электростанцию, от которой зависело снабжение фронта оружием. Только у меня не хватает грамотности, чтобы суметь описать так, как пришлось в жизни испытать.

По приезде нас как мобилизованных депутат расквартировала по частным квартирам, по два-три человека. Нас посылали на всякие работы. Ездили в Бор грузить белый кирпич. Грузили листы стекла с завода в баржу, без всяких приспособлений – на руках. Ездили в Дзержинск – грузили остороженько какие-то баллоны. И множество разных работ, каких я раньше никогда не слыхала даже. Приходилось топить печь (калорифер), сидеть ночь в этом подвале, куда дрова совали вдвоем – двухметровку, непиленую. А когда пришлось для электростанции выгружать цемент из баржи на берег, так бумажные кули были непосильны. Ноги под тобой трясутся, все тело в дрожи от тяжести. Пройдешь с кулем на спине по мосткам на берег, от тяжести даже глазам больно было, ломило.

А через несколько дней меня вызвали в контору. Много нам не толковали. Сказано – делай. Сказали: «Ты завтра к семи часам пойдешь за город по адресу, скажешь, от кого явилась, и тебе дадут рабочих. Ты только руководи ими на разгрузке, а сама не выгружай цемент». И ничего больше не сказали, не предупредили. А когда пришла, в проходной комендатуры мне сказали: «Ты баба? Ну, получай рабочих». Растворили ворота и отсчитали мне сорок два человека, а они – немцы, пленные. Я раньше никогда не видывала немцев, а тут сразу мне вести через весь город к Волге немцев сорок два человека. Пусть они хоть и разоружены и я без винтовки, но меня как-то сразу всю сама воля перестроила. Я, простая баба, нечаянно вдруг – командир. Веду немцев по городу, скажу им «пойте» – и чего-то пели, и на работе мы как-то понимали друг друга. Только они кое в чем в барже пытались притвориться хворыми или отвлечь меня своими фотографиями, показывали, что и как у них дома, говорили, что дома у них много сахара, а у меня нет.

А я им тоже толкую: «Сахару-то, мол, много, а что же вы пришли к нам, русский цемент захотели? Вот и давайте разгружайте!» И как бы я с ними ни уставала и есть все время хотелось, а все время держалась. Так хотелось им показать, что русские женщины сильны, выносливы. После выгрузки я снова вела их в ихние корпуса. А дорогой за нами бегут ребятишки и кричат: «Москва – салют, а Гитлеру – капут!» А самый задний еще и без штанишек, отстает, но тоже твердит: «Капут! Капут!» Немцы оглядывались и повторяли: «Капут, капут». Мне дали десять дней отдыха и отметили в газете.

Возвращалась я очень усталой, страшно есть хотелось, а по карточке продовольственной все как-то получалось три дня вперед перебор. Иногда даже случалось: тайком от хозяйки я вынимала у ихней собаки из банки отбросы гнилой или мороженой картошки и их ела.

А больше всего приходилось работать на распиловке чурки, когда не хватало торфа для станции. Много пилили по ночам. С вечера, бывало, смочит дождем, а под утро заморозит. Только шум от твоего брезентового фартука.

Раньше я никогда никому не верила, что можно спать на ходу, а вот тут научилась. Объявят в столовую идти, и на ходу обхватимся две бабы и на какое-то мгновение засыпаем, опираясь друг на дружку. Несколько раз прилетали немцы бомбить. Мы уходили в убежище. Подхватишь под мышку чурку: на ней сидя, хоть сколько подремлешь. А те, которые помоложе, мгновенно складывали частушки, ну, как блины пекли.

Да нужно ли мне все писать?

Всю войну я переписывалась с мужем. Он помер теперь. С фронта у меня сохранились стихи его и письма, и я их все читаю. Сейчас мне уже 58 лет. Живу одна.

Прошу меня извинить за отнятое время этим письмом.

Антонина Ивановна Ш.».

Вот и все.

А наверное, Антонина Ивановна Ш., как и моя Мария Матвеевна Февралева («Верить и помнить»), пишет в анкетах: «В Отечественной войне не участвовала...»

Повесть первая. Ее зовут Елкой

– А я знаю. Ты и есть Александры Федоровны внук.

– Откуда знаешь?

– Похож. Ой, до чего ж похож! Правда! А чего ты раньше никогда не приезжал сюда?

Всего что угодно мог ожидать Ленька, но только не этого. Говорили, что он похож на отца. Это верно, пожалуй. Ну, на мать. Может быть. Частично. Но чтобы он, мальчишка, был похож на бабушку! Это невероятно. Ленька даже покраснел.

– А чего, я спрашиваю, не приезжал раньше? – не унималась она.

Почему он не приезжал сюда раньше? Как ей сказать! Может, это и нехорошо, что он никогда не бывал здесь, у бабушки. Но как-то все было просто, и он не приезжал. В пионерские лагеря ездил. На смену и на две. А в прошлом году и на три. А раньше?.. Раньше Ленька в детском саду был. Смешно, наверное? Наверное... С детским садом и ездил за город... Только этого он почти не помнил...

– Бабушка каждый год у нас гостила. Потому и не приезжал, – пробормотал Ленька. А про себя подумал: «Ну и девчонка!..»

Это было в предпредвоенном тридцать девятом, когда Ленька впервые попал в Сережки. Они встретились в магазине сельпо, куда Ленька ходил за солью.

Ее звали Елкой. Иногда ласково – Елочкой. Но так Ленька не решался.

В Москве он был парень как парень, а тут перед ней пасовал. Когда два года назад на спор с крыши трехэтажного дома прыгнул – не боялся. Ногу сломал, пяточную кость, – терпел. Прежде в школе (во втором классе, кажется, учился) на перилах катался, упал в пролет лестницы, все зубы вышиб – молчал, не хныкал. А совсем давно, до школы еще, залез в колючую проволоку. Отцу пришлось разрезать ее ножницами, чтобы вынуть Леньку, а он и глазом не повел. Сжал зубы, а потом даже хвалился. Учителей в школе или старших ребят Ленька никогда не боялся. А тут...

Елка, Елочка, Елка-палка. Смешно, наверное? Наверное...

– А почему тебя так зовут – Елка? – спросил как-то он.

Вообще-то, неожиданных имен в те годы было немало. Индустрия, например, Электрификация, Вил, Рабкрин, Сталина, Коллективизация... У Леньки в классе даже один Проля был, а полностью – Пролетарская Революция. Когда вырастет, Пролетарская Революция Петрович будет!

Но Елки он никогда не встречал.

– А Сережки – разве не смешно? – выпалила она. – Почему наша деревня Сережками называется? Вот и не знаешь!

Ленька опешил: он не знал.

И откуда ему было знать! Он и название-то «Сережки» вроде не слышал. Знал, что бабушка живет где-то в деревне, что рядом есть речка. Нара называется. А Сережки...

Вот, например, все испанские города и провинции, где шла борьба республиканцев с франкистами – Мадрид, Толедо, Валенсия, Гвадалахара, Астурия, Каталония, – он знал. Всех героев-пограничников, начиная с Карацупы, знал. И всех стахановцев и летчиков, совершивших дальние беспосадочные перелеты на Дальний Восток и в Америку, не говоря уже о челюскинцах и папанинцах. Не только по фамилии, но и по имени-отчеству. Футболистов «Торпедо», «Спартак» – тоже. Даже там разных иностранных представителей в Лиге Наций. Все высоты у озера Хасан: Безымянная, Черная, Богомольная, Заозерная, Пулеметная Горка, Междорожная...

Знал, наверное, потому, что любил читать газеты – взрослые, не только «Пионерскую правду».

А что Сережки! Про Сережки в газетах не писали. И бабушке в Сережки ему писем писать не приходилось.

Летом бабушка, верно, иногда гостила у них в Москве, а порой и зимой, к Рождеству, а точнее, к Новому году приезжала!

– Думаешь, из-за березкиных сережек? – продолжала Елка. – Вот и нет, хотя и много у нас берез вокруг. Просто помещик у нас тут жил один, в нашей школе, только до революции это было. Так, говорят, чудаковатый... Всех детей своих Сережками называл. А у него одни мальчишки и нарождались. Шесть детей, и все мальчишки! Вот и повелось – Сережки!.. Так папа мне объяснял. И мама. Вот!

– Интересно! – не выдержал Ленка, в самом деле пораженный неожиданным открытием. Но подумал о другом.

«Папа», «мама». Это смешно! Елке тринадцать лет, немаленькая уже, а говорит, как маленькая. Ленка никогда бы так не мог сказать: «мама», «папа». Ну, уж лучше: «мам», «пап»... Или «мать», «отец», когда говоришь о родителях с ребятами.

И все же почему она, приземистая, коренастая, не похожая ни на елку, ни на палку (уж скорей Ленка был в ее глазах палкой), зовется Елкой, не понял.

Ленка был почти на голову выше Елки. Но оказалось, что это ничего не значит. Он робел перед ней, краснел, как перед старшей. Куда делась московская самоуверенность? Наверное, потому, что она болтала без умолку. И спрашивала. И знала больше его. А ведь была одно-классница и, уж если говорить о возрасте, на два месяца моложе Ленки.

– Елка? – Она улыбнулась, и ее длинные выгоревшие ресницы зашевелились, как мохнатые гусеницы. – Мама когда-то так назвала. Она русская у меня... Так и повелось – Елка! Все привыкли...

– Почему русская? – не понял Ленка. – А какая же еще?

– Папа у меня эстонец. Только обрусевший, – пояснила Елка. – Хочешь, Анкой зови или Аней. Так тоже можно. Только на самом деле меня Эндой зовут, через «э» обратное. Это по-русски значит «своя»... Вот!

Ленке казалось, что она обыкновенная деревенская девчонка. Ходит босиком. Лицо с веснушками. Выгоревшие волосы и куцые косы. Даже глаза круглые, большие и, сразу видно, не голубые, не серые, не карие, а выгоревшие, бледные. И полинявшее платье выше колен, не такое, какие носили городские девчонки. И вдруг... папа – эстонец. Энда – «своя».

– Значит, ты иностранка? – Ленка вовсе удивился.

Живых иностранцев ему видеть не случалось. Если не считать испанцев, да и то детей, которые приходили к ним в школу на пионерский сбор. Их было много в ту пору в Москве. Но испанцы почти не понимали по-русски, а Ленка, как и все ребята, понимал из их слов лишь одно: «Но пасаран! – Они не пройдут!» Это про фашистов, конечно...

– Какая же я иностранка, когда я языка эстонского не знаю и в Эстонии не была! – сказала Елка. – Знаю «тере», и все! «Здравствуйте», значит. Вот...

Елка, Елочка, Анка, Энда, «своя»... Всех этих премудростей Ленка сразу уразуметь не мог. В тринадцать лет да рядом с такой девчонкой – сложно.

– Я буду лучше звать тебя просто Елкой, – пробормотал он. – Ладно?

– А мне-то что? – весело сказала она. – Как удобнее, так и зови. – И тут же добавила: – В кино пойдешь со мной? «Семеро смелых». В клубе вечером крутят...

– Конечно. Почему не пойду!

– Так давай я за билетами сбегаю! А то, пока мы тут разговоры разговариваем, билеты пропустишь!

Потом, в то же лето, Ленка, кажется, понял, почему она Елка. В самом деле, колюча, ершиста, как елка. Что ни слово ей – в штыки, ехидничает или смеется.

Ленька приехал в подмосковную деревню Сережки. Приехал на лето к бабушке, хотя мечтал совсем о другом – о пионерском лагере.

Впрочем, что там – приехал! Леньку привезла в деревню мать, обеспокоенная состоянием его здоровья после воспаления легких. Правда, она до последнего дня говорила: «Ты знаешь, путевки в лагерь мне пока достать не удалось. И все же, может быть...» Но Ленька знал, что дело вовсе не в этой путевке, а как раз в воспалении...

После воспаления легких Ленька, правда, был тощ, как жердь, – таких жердей можно найти великое множество и в самой деревне возле изб и за ее пределами: у скотного двора, конюшни и огородов. Ленька был, наконец, бледен, как вода в Наре, где ему на первых порах запрещалось купаться.

– Ты уж на реку-то не ходи, Ленек, – просила бабушка. – А то я маме твоей слово дала. Это Ленька и сам знал.

– Купаться ты будешь не раньше середины июля, когда вода в реке окончательно прогреется, – наставляла его мать. – И очень прошу тебя не спорить со мной! Иначе я скажу папе. Мы с ним все продумали, все учли...

Родители, видимо, все продумали, все учли. Кроме одного: купаться Ленька мог и так, не обязательно на глазах у бабушки.

Ну что ж, пусть он не попал в пионерский лагерь, как поначалу хотел, все равно. Деревня так деревня. Сережки. Пусть Сережки. Есть что-то и поважнее деревни и лагеря. Лагерь лагерь, а экзамены? Экзамены – не шутка! Воспаление легких накануне экзаменов – что может быть удачнее!

В шестой класс Леньку перевели без экзаменов как раз благодаря воспалению легких. Все одноклассники завидовали ему. Еще бы! На экзаменах многие схватывали куда худшие отметки, чем четвертные. А Леньке именно по ним, четвертным, выставили годовые. И все! Три «посредственно» (их называли ласково – «посики»), остальные – «хорошо» и «отлично». И хотя отличные оценки у Леньки были только по физкультуре и поведению (по поведению ниже отметок вообще никому не ставили, даже самым отъявленным лоботрясам, загремевшим на второй год), все равно это были реальные «отлично». Ленька ликовал!

Но отцу об этом не скажешь. Матери – тем более.

Ленька похвастался перед Елкой. В тот же день, когда познакомился с ней в магазине.

Елка почему-то отнеслась к его сообщению о школьных успехах довольно спокойно.

– Подумаешь! Похвальбушка! У меня тоже два «посика». Только я не болела и сдавала экзамены, как все...

...То ли из-за этой Елки, то ли еще почему, но деревня Леньке окончательно разонравилась. Впрочем, ему и раньше-то никогда деревни не нравились. Так ему казалось, хотя он в деревнях и не бывал никогда...

Ну что тут, в этих Сережках? С утра выйдешь на улицу – уже нет никого. Одни малыши голопузые в песке копаются. Тихо, хоть караул кричи. Ни людей, ни машин, ни гудков, ни голосов...

Другое дело – в Москве. Там... Что там, Ленька не мог и самому себе передать, но там – это там... Вот хотя бы кино. Иди куда хочешь, выбирай любую картину! А что? В самом деле так: ведь в Москве кинотеатров пятьдесят, не меньше. Или во дворе... Сколько в каждом дворе ребят собирается! Хочешь – в футбол сыграй, хочешь – по чердакам лазай, как по джунглям каким, или по крышам, а надоело – пошел купил мороженое... На каждом углу, пожалуйста!

– Природа у нас красивая, Ленек! – говорит бабушка. – Раздолье тебе!

Природа – может быть. Но что Леньке и природа эта, и раздолье, когда вокруг так тихо и деревня какая-то глухая!.. В Москве он никогда не знал, что такое скука, а здесь, пожалуй, заскучаешь. Правда, речка есть тут. Но и в Москве купаться можно. Ездили они с ребятами в Щукино на канал, к Тимирязевке на пруды ходили. Купайся сколько хочешь!

А радио? В Москве Ленька привык к нему настолько, что и не слушал. А здесь сразу заметил: чего-то не хватает. Понял: радио нет. И газет. Дома отец выписывал «Правду» и «Вечерку», не считая «Пионерки»...

Бабушке почтальон приносит одну маленькую газетку. «Маяк» называется. Но в ней ничего нет. Ни про какие события. Только про такую-то бригаду, и еще про такую, и еще... Кто сколько чего собрал, кто как подготовился к пахоте, к уборке, к сенокосу, как идет прополка...

Ленька каждый день просматривает этот самый «Маяк», но интересного в нем мало. Он жил мировыми категориями, а тут ему – как идет прополка...

– Ну что, правда хорошо у нас? – спросила Елка.

– Ничего... Так себе... – не особенно лукавая, ответил Ленька.

– А ты знаешь, что наш колхоз самый передовой в районе? Вот и не знаешь! – воскликнула Елка. – А то, что его выдвинули на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, знаешь? Э-э! Ну откуда тебе знать! Ты же москвич!..

В кино они ходили трижды. На «Семеро смелых», «Трактористы» и на немой фильм «Праздник святого Йоргена».

Поначалу Леньке неловко было ходить на глазах у всех с девчонкой.

Как-то он даже заикнулся:

– Может, ребят возьмем? Веселее!

У него уже были знакомые ребята в деревне.

– Если веселее, возьмем! Если меня боишься, обязательно возьмем! – отрезала Елка.

– Нет, почему же боюсь? Это я просто так, – попытался оправдаться Ленька.

В клубе всегда было тесно. Да и клуб, впрочем, не походил на клуб: бывший помещичий каменный амбар рядом со школой, заставленный длинными скрипучими лавками.

Елке, кажется, нравилось, что на них все смотрели. А Ленька прятал глаза, ерзал на месте и никак не мог дождаться, когда в зале потухнет свет.

Наконец начинался сеанс, и Ленька, вероятно, от долгого ожидания, почему-то принимался сопеть носом и чихать. Как назло, в самое неподходящее время у него появлялся приступ насморка.

– Будь здоров, – шептала Елка, поправляя на шее галстук.

И еще раз:

– Будь здоров!

Снова:

– Будь здоров!

И вот, как ему казалось, не без раздражения наконец спросила:

– Ты что, простудился? Будь здоров!

– Почему? Я всегда, между прочим, в кино чихаю. И в Москве! – как можно убедительнее произнес Ленька.

Возле избы Ленька поймал ежа. Он спокойно топал почти рядом с крыльцом. Леньке такого видеть еще не приходилось. Он, конечно, накрыл ежа. Куртку скинул и ею накрыл.

Ежик оказался смирный. Не свертывался в клубок, не кололся, только фыркал чуть-чуть, будто чихал.

Леньке очень хотелось похвалиться своей находкой. Но бабушки дома не было, и ребят на улице нет... Что делать?

Пустил ежа по полу в комнате. Вспомнил – молока налил в блюдечко, поставил перед ежом. Не пьет! Носом его в молоко окунул – фыркает, не пьет.

Опять взял ежа, вышел на улицу.

Елка тут как тут:

– Что это у тебя?

– Да вот, поймал! Сам, понимаешь! Он около крыльца, а я...

– Отпусти его! Сейчас же отпусти! – закричала Елка. – Что ты его мучаешь?..

Ленька так растерялся, что сам не сообразил, как нагнулся, выпустил из рук ежа, и тот сразу же, фыркнув, исчез в палисаднике.

– Скучно? – почему-то спросила Елка.

– А что скучно? Нет...

– Знаешь, у нас тоже дома целая семья ежиная жила, – вдруг сказала она. – Еж, ежиха и маленькие. Под крыльцом. Так папа, бывало, их всегда кормил. Они совсем ручные были. А раз он даже главному ежу самогону в блюдечко налил. Тот выпил, вот смеху было!.. А без папы и ежи пропали. То ли ушли куда, то ли что...

Ленька хотел спросить: «Почему без папы? А куда он делся?» Но не спросил. Промолчал. Да и Елка уже о чем-то другом заговорила.

Сегодня он пришел в клуб без Елки. Был концерт самодеятельности, и она убежала раньше, чтоб подготовиться.

Оказывается, Елка пела. Ей подыгрывал гармонист.

Голос у Елки немного резкий, и все же ничего.

У лесной проталинки,
У ручья глубокого
Повстречала парня я
Синеокого.
С той поры, как встретимся,
Парень все смущается,
Говорить про трудодни
Принимается.
Ну, а мне-то про любовь
Все услышать хочется.
Про дела знаю я:
Как-никак учетчица!..

Кажется, так пела Елка. Пела совсем по-взрослому, и песни все взрослые. Не то чтобы там «Крутыми тропинками в горы...».

А потом она танцевала. Под колхозный оркестр.

Весь оркестр – шесть человек, и все ребята. Трое играли на обыкновенных самодельных свистульках, один стучал деревянными ложками, еще балалайка и гармонь. И все одновременно пели, но куда хуже Елки.

Елка отплясывала «барыню».

После концерта Ленька возвращался вместе с ней. Через старый парк возле школы. Ленька волей-неволей озирался по сторонам. Смотрят на них или нет? На деревьях всюду горланили галки. Кружились, заслоняя вечернее небо, и дико кричали. Но вокруг, на земле, вроде никого рядом не было.

– А ты правда не боишься со мной ходить? – вдруг спросила Елка.

– Почему я должен бояться? – смутился Ленька.

– А потому, что у меня папа-то сидит. И из пионеров меня исключили. Вот!

– Как – сидит?

– Так и сидит, в тюрьме.

– За что?

– За картошку...

– Как – за картошку?!

– А я знаю? На суде говорили: за покушение на общественную собственность. А какое покушение, когда он картошку людям раздал? Мороз прихватил ее, а он и раздал... А ведь папа у меня в председателях ходил. Хозяином его все звали. Вот тебе и хозяин! Глупо, правда?

– Наверно, – согласился Ленька. Еще через минуту он вспомнил:

– А почему ты говоришь: из пионеров исключили! Ты же носишь галстук!

Елка и правда все время ходила с пионерским галстуком. И сейчас, летом, когда галстуки никто из ребят не носил.

– И исключили! Даже галстук при всех на сборе сняли, – зло сказала Елка. – А я все равно ношу! Сама сшила себе и ношу! Пусть кто попробует отнять еще! И в комсомол буду вступать. Думаешь, не примут? Примут! Если хочешь знать, я даже Сталину об этом написала. И про папу. А он разберется! Вот!

...Иногда Ленька не видел ее по полдня. То сама прибежала к ним в избу чуть свет, то ждала на улице, у палисадника, а тут Ленька выходил – нет ее. Странно!

Вот и сейчас вышел – нет.

Бабушка оказалась рядом.

– А ты пойдی поищи ее...

– Кого, баб? – хмуро спросил Ленька, делая вид, что не понял.

– Да подружку свою, Елочку, – простодушно пояснила бабушка. – Ведь она хорошая у нас, Елочка. Не грех с ней дружить. Я смотрю порой на вас и радуюсь. Елочка – она такая, плохому тебя не научит... Трудолюбивая опять же...

– Я и не думал о ней вовсе, – пробурчал Ленька. – Я ребят просто жду...

– Ну, как знаешь, Ленек, – согласилась бабушка. – Смотри, сам большой. Я в бригаду побегу...

Ленькина бабушка, Александра Федоровна, как величали ее все в деревне, работала в колхозе. И, говорили, не хуже молодых. По трудодням многих обгоняла. Впрочем, она не была старой. Пятьдесят два – разве это возраст! Пожалуй, только для Леньки она была старой. И лет в четыре раза больше, чем ему, и просто – бабушка...

Жила бабушка одна. Ленька знал, что из всех ее детей остались двое: отец Ленькин да еще бабушкина дочь, тетя Наташа, которая сейчас во Владивостоке вместе с мужем живет. Он у нее моряк-пограничник. Ленька его по фотографиям знал.

А дом у бабушки ладный, просторный, чистый. И дранкой крыт. Стоит на самом краю деревни, у ельника. Там, за ельником, как раз и река Нара. И мост через нее. Хочешь – с левого берега ныряй, хочешь – с правого. Только, пожалуй, с левого лучше: он круче да и глубже там...

Сережки – деревушка небольшая: пятьдесят дворов всего. Может, чуть больше. Избы разные: под соломкой и под дранкой, как у бабушки, и, совсем редко, крытые железом. Школа и клуб каменные, с виду красивые. Это и есть бывшая помещичья усадьба. Еще церковь, где зерновой склад помещался. А в общем-то, деревня как деревня, каких много.

Когда Елки не было, Ленька и впрямь не искал ее, а болтался с ребятами. По лесам, где было неспорот земляники, и по полям, где рос горох. Свежий, сладкий горох – объедение! Если бы живот от него не болел!..

На Наре тоже ничего, конечно, когда бабушка не замечала. Иногда по садам лазал, хотя их и не много в Сережках. Гоняли с ребятами лошадей на водопой. Возили солому на скотный двор. Собирали голубиные яйца на колокольне церкви. Мастерили капканы на кротов и ставили их по вечерам на кладбище – самом кротином месте. Многие новые Ленькины приятели зарабатывали на кротовых шкурках немалые деньги в райзаготконторе.

Однажды к обеду Ленька с ребятами пригнали лошадей после водопоя. В конюшне он неожиданно столкнулся с Елкой. Раскрасневшаяся, растрепанная, она толкала перед собой тачку с навозом.

– Ой, ты? – Она, кажется, страшно удивилась и еще больше покраснела. – А я вот... Знаешь, трудодни приходится... Мама...

Ленька взял у нее из рук тачку.

– А ну дай! Куда? Везти куда?

Она показала.

– Да не надо... Я сама!

Ленька отогнал тачку за угол конюшни. Перевернул, опорожнил. Теперь назад в конюшню.

Елка помогала ему грузить. Потом семенила вслед за ним и все повторяла на ходу:

– Да хватит же! Хватит! Правда, я сама могу. Я привыкла. Вот!

А сама, кажется, была очень довольна.

Когда Ленька с независимым видом уходил из конюшни, мальчишки ждали его.

– Прямо и не поймешь, – сказал один из них, рыжий Колька, – кто из вас у кого на прицепе...

– На каком прицепе? – не понял Ленька.

– Да вся деревня говорит, что ты у Елки на прицепе, – пояснил рыжий. – А сейчас вот поглядели... Может, наоборот...

В конце лета Сережки провожали парней в РККА, то есть в Красную Армию. Вся деревня гуляла несколько дней подряд. В клубе был концерт, и Елка опять танцевала и пела, только другое:

Мой миленок ненаглядный
Идет в армию служить,
Пусть его скорей обучат,
Как любовью дорожить...
Ему легчиком быть,
Пулеметчиком быть,
Ну, а лучше быть связистом,
Чтоб меня не позабыть...

После концерта веселье пошло по избам.

Ленька завидовал бритоголовым парням, уходящим в армию. Ему этого дня еще ждать и ждать! Больше пяти лет ждать!

А пять лет – целая вечность! И вообще так вся жизнь пройдет!..

Елка говорила:

– А почему девчонок в РККА не берут? Вот скажи мне: почему? Анку-пулеметчицу брали? Брали! А «Мы из Кронштадта» помнишь? Ведь брали! А сейчас? Разве это справедливо? А-а? Справедливо? В Конституции про равенство между мужчинами и женщинами записано? Записано! А где оно, это равенство? Неправильно это! Вот!

В день отъезда новобранцев Сережки как-то погрустнели. Играли гармошки, звенели песни, улыбались парни под хмельком, но уже не так, как в прежние дни. И были слезы. Много-много слез, непонятных Леньке.

Кто-то, как назло, пустил еще слух, что началась война: мол, немцы напали на Польшу. Ну, а коль скоро война у соседей, так и нам нечего добра ждать.

Машины с призывниками уже тархтели моторами, когда в толпу провожающих ворвалась Елка.

– Враки! – закричала она. – Про войну все враки! Я в райком из правления звонила. Никакие немцы не нападали ни на каких поляков! Враки все это!

Люди чуть успокоились. Повеселели. Ну, раз нет войны...

И ее не было. Еще несколько дней не было. До первого сентября не было.

1 сентября уже в Москве, в школе, Ленька узнал: сегодня Германия напала на Польшу...

В Москве они жили на самой окраине, в Покровском-Стрешневе. Ленькина школа была относительно рядом, а вот отцу с матерью приходилось ехать на завод с двумя пересадками: на трамвае, потом на метро и опять на трамвае.

Рядом с их домом был овраг, превращенный в свалку.

Ель и береза как раз стояли у края этого оврага. Одинаково длинные, но и одинаково не похожие друг на дружку, стояли рядышком, словно росли из одного корня. Темно-зеленая крона ели будто специально оттеняла тонкий, белый с крапинками ствол березы, ее голую вершинку с ветками-паутинками. Вершинка покачивалась мерно-мерно – взад-вперед, взад-вперед, – и чудом уцелевшие к концу октября на одной из веток скрюченные бурые листья косо развевались на ветру.

И слева, и справа, и впереди, на глубине оврага, по соседству с кучами блестящего консервными банками и битым стеклом мусора, тоже росли ели и березы. Их было много, почти целый лес – темно-зеленых и посветлее, и побурее елей и тонких, худых березок, – и все же они были не такие, как эти, на краю оврага. Уж очень красиво стояли эти два разных дерева рядом!

А когда наступали сумерки, казалось, еще ближе смыкались их стволы. И хвоя четче выступала на фоне сухой травы, длинных, тощих палок сорняков и кустарников, и белый ствол березы ярче выделялся в сером предвечернем осеннем небе.

Когда шел дождь, ель и береза выглядели не так, как всегда. Они чернели. Вместо темно-зеленого и белого откровенно черное и серое. И небо такое же.

– Что ты все время у окна торчишь? Или ждешь кого?

Ленька вздрогнул от слов матери.

– Никого я не жду! Почему?

Он и в самом деле никого не ждал. Не мог ждать.

Но вот уже много-много дней после возвращения из деревни он смотрел на эту ель и на эту березу. Кажется, прежде он их даже не видел, не замечал. И были ли они? Наверное, были... А там, в Сережках, не было таких? Ленька старался вспомнить, но не мог.

Вспомнилось другое. И даже слова: «Если меня боишься, обязательно возьмем!.. Ты что, простудился? Будь здоров!.. А я все равно ношу! Сама сшила себе и ношу!.. И в комсомол буду вступать. Думаешь, не примут? Примут!.. Вот!..»

Еще совсем недавно, до лета, Ленька терпеть не мог всяких там книжек о природе. Да и в других-то, не о природе, там, где про леса какие или речки было написано, всегда пропускал эти места.

А теперь обзавелся Тургеневым, Пришвиным и Соколовым-Микитовым. Хотел еще купить Бианки, но слишком уж детские: картинок много, и все большие...

Смешно, наверное? Наверное...

– Мам! А на будущий год я поеду туда?

– Куда? – переспросила мать, занятая своими делами.

– Ну, к бабушке, в деревню... В Сережки эти...

– А хотел в лагерь... Значит, понравилось? Я очень, очень рада, – сказала мать. – Конечно, поедешь. И бабушка тобой довольна...

Его звали по-всякому. В школе обычно по фамилии.

«Пушкарев, ты опять разговариваешь?», «Пушкарев, о чем я сейчас рассказывала?», «Пушкарев, к доске!», «Пушкарев, сколько раз тебя нужно предупреждать, чтобы ты не забывал дома учебник?», «Пушкарев...», «Пушкарев...», «Пушкарев...»

Даже надоело!

Во дворе его звали проще – Ленькой. Мать и отец чаще говорили: «Лень...» Бабушка ласково: «Ленек...»

– Ты приехал! Я так рада! Правда, Леонид!

Только Елка звала его серьезно, по-взрослому – Леонидом.

Леньке нравилось это.

И все же сейчас, когда он через год вновь появился в Сережках, ему почему-то хотелось задеть ее гордое самолюбие.

Ленька долго выбирал подходящий момент.

Наконец, кажется, выбрал:

– А помнишь, ты говорила про войну с Польшей – «враки»? Вот и вышли тебе «враки»! И не только с Польшей... А с белофиннами? У нас знаешь у скольких ребят отцы на финской были! И в Западной Украине, Западной Белоруссии.

Елка как-то сразу посерьезнела. И спорить почему-то не стала, как обычно.

Сказала вдруг грустно:

– А я просто дурой была! Вот! Правда, Леонид? Это плохо, наверно, но я сейчас почему-то тоже верю... Или предчувствую, как это говорят, – как те женщины, которые прошлым летом плакали. Помнишь? Когда в армию провожали. Помнишь, что они говорили? Я все чаще их вспоминаю. Что делается всюду, посмотри! А Гитлер этот прет и прет!..

Леньке показалось, что он зря обидел своими словами Елку. Она, кажется, куда умнее и серьезнее его.

– О Гитлере ты не беспокойся, – сказал он. – У нас же с ним договор о ненападении... И вообще никакой войны не будет! Что ты! Какая война!..

Деревню Ленька увидел сейчас вовсе не такой, как в прошлом году. Тогда он, наверное, вообще ничего не видел. Ну, деревня и деревня, улица, избы, поля...

Оказывается, в Сережках было не так уж плохо. Единственная деревенская улица будто нарочно взбегала от оврага на косогор, к церкви, и там, дальше, последними своими избами уходила в молодой ельник. Совсем молодой. Салатного цвета елочки и сосенки, в два вершка и чуть больше, выходили прямо на самую улицу. Она здесь кончалась, а ельник только начинался. В песок, чистый, серовато-желтоватый песок, уходила дорога, и здесь же, в этом песке, росли рядками елки и сосенки. А за ними уже настоящий еловый лесок. Лес? Нет, лес – не скажешь. Именно лесок, поскольку в двухстах метрах от него, под обрывом, лежала Нара.

Ленька ходил по шоссейной булыжной дороге и по мосту за Нару. Там была почта. И писать родителям, к сожалению, надо. Он обещал. И приходилось писать раз в неделю. Когда на почту ходил, видел при въезде на мост знак «5 т» и бесчисленных рыбаков вдоль реки...

Леса со всех сторон окружали Сережки. С этой, со стороны Нары, – ельник. Ели и сосны, молодые и старые, они звенели в сухие летние дни, напоминая удивительную, незнакомую музыку, и скрипели, трещали при ветреной погоде, как бы противясь ей.

Каждый лес вокруг Сережек не был похож на другой. За картофельным полем на многие километры тянулся березняк, изредка перебиваемый орешником. За бывшей помещичьей усадьбой, где были теперь школа и клуб, – дубовая роща, а левее, за прудом, – осинник. Вдоль самого пруда буйно разрослись ветлы. Издали они напоминали странных, почти живых существ: вроде какой-то смешной скульптор специально выставил здесь напоказ всем необычайные, огромные фигуры. А вблизи, стоило подойти к пруду, они были обычными ветлами – старыми, кургузыми, по которым так удобно лазать.

Ветлы опускали свои раскидистые ветви прямо в воду, которая цвела зеленью, дружно квакала лягушками, мельтешила жуками – водолюбам, лужанками, прудовиками – и какой-то быстроходной насекомой мелочью. Эта мелочь бороздила поверхность пруда, как конькобежцы каток.

Вокруг Сережек лежали поля. Слева и справа. За избами и впереди изб. На возвышенностях и в низинах. Упирающиеся в леса и уходящие в бесконечность к горизонту.

Казалось, и прошлым летом Ленька видел эти поля. Видел? Не видел. Смешно, наверное? Наверное...

Рожь, пшеница, клевер, горох, картофель, свекла, капуста... Каждое поле имело свой особый цвет, вкус и запах. И цвет этих полей на дню без конца менялся: утром – один, вечером – другой, в полдень – третий, в ясную погоду – четвертый, в грозу – пятый, под хмурым небом – шестой, на ярком закате...

Но больше всех Леньке нравилось одно поле. Оно вплотную подходило к бабушкиному огороду, что находился на задах их избы. Поначалу Ленька даже не знал, что это за поле, что на нем растет. Он просто видел в поле среди прочей растительности около десятка ярких подсолнухов. А что вокруг них?

– Это вика, Ленек, вика, – объясняла бабушка. – Смотри, размахнулась!

Говоря по совести, Ленька не знал, что такое вика и для чего она нужна.

Но такие же подсолнухи, как на том поле, росли в палисаднике. Их было два, и они будто нарочно забрались сюда, к бабушкиной избе, с того самого поля.

Ленька слышал или читал, что подсолнухи поворачиваются головой в сторону солнца. Сейчас он сам видел это. И когда порой ему казалось, что тот или иной подсолнух не слишком быстро поворачивается к солнцу, он почему-то волновался и пытался сам помочь подсолнуху чуть повернуться...

Рядом с подсолнухами в бабушкином палисаднике росли два молодых дубка. Листьев на них было мало, да и не удивительно: земля вокруг высохла. Дождей нет и нет!

Каждую попавшуюся свободную минуту Ленька брал ведро, набирал в колодце воды и поливал их. И дубки, и подсолнухи.

За этим занятием и застала его раз Елка.

– Ты что, Леонид? Зачем же по жаре поливать? Это, когда солнышко спадет, можно. А так они у тебя загибнут...

Ленька растерянно стоял с неопорожненным ведром перед ней. Она поняла, выхватила у него ведро и выплеснула воду под бузину.

– А вот ей все равно, – сказала она. – Ей как-никак можно.

Потом помолчала, улыбнулась.

– А ты, Леонид, очень изменился с прошлого года. Совсем взрослым стал...

Над деревней часто кружили чайки.

Леньке не очень нравились эти птицы. Большие, красивые, но какие-то холодные, недобрые, хищные...

Откуда они? Или с Нары прилетают? И почему все время вертятся над прудом?

Пруд в Сережках большой. Некоторые его даже озером называют. Прямо рядом со школой, в бывшем помещичьем парке. Посредине пруда плавневый островок. Он зарос белокрыльником, хвощом, чередой. По берегам пруда камыши и роголист. Не пруд, а джунгли.

Когда Елки не было, Ленька часто проводил время здесь. Не один, конечно, с ребятами. Ловил карасей.

Но вот эти чайки...

Только удочку забросишь, а они уже тут как тут. Так и крутятся над водой, будто норовят перехватить пойманное. И еще – неприятно кричат.

Ребята говорили, что там дальше, в плавнях, чайки выводят своих птенцов. А потом, как те подрастут, бросают их и улетают куда глаза глядят. И молодые чайки, только освоятся, научатся корм себе добывать, улетают кочевать.

«И верно, противные птицы!» – думал про себя Ленька.

Даже как-то Елке об этом сказал с видом знатока, когда в клуб шли мимо пруда.

– Противные, говоришь? Улетают? – переспросила Елка. – Всем бы такими противными быть! А знаешь, что они на ночь сюда, на пруд, возвращаются? Не знаешь! А осенью вот улетят

в чужие края, так потом, думаешь, как? Сюда вернуться гнездоваться! Детей воспитывать на родном месте! А ты говоришь – противные!.. Купаться пойдем? – спросила Елка.

Вопрос был обычный, если бы его задал любой из сержанских мальчишек, и Ленка сразу же ответил бы на него: «Конечно!»

Но тут – Елка. С ней он ни разу не ходил купаться ни прошлым летом, ни сейчас. И вообще с девчонками не купался.

– Пойдем, – промямлил Ленка, понимая, что молчать дальше нельзя.

Они пришли на крутой берег Нары. Здесь Ленка купался и прежде. Елка отбежала куда-то в сторону, быстро переоделась, вернулась, спросила:

– Ты что, не будешь купаться?

– Почему не буду? – Ленка начал поспешно раздеваться. И черт его дернул не сделать это раньше, пока Елки не было!

Кажется, Елка не понимала Ленкиного смущения.

– А хороша у нас Нара, правда? – спросила она. И тут же добавила: – А ведь сюда Наполеон доходил. Ты историю любишь? (Ленка не успел ответить, поскольку поправлял в этот момент трусы.) Я – очень! Помнишь, Кутузов, после того как Москву сдал, докладывал царю? Я наизусть помню. Вот!.. – Елка встала в торжественную позу. – «Вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России... Хотя не отвергаю того, чтобы занятие столицы не было раною чувствительнейшею, но, не колеблясь между сим происшествием и теми событиями, могущими последовать в пользу нашу с сохранением армии, я принимаю теперь в операцию со всеми силами линию, посредством которой, начиная с дорог Тульской и Калужской, партиями моими буду пересекать всю линию неприятельскую, растянутую от Смоленска до Москвы, и тем самым отвращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия с тылу своего иметь могла, и, обратив на себя внимание неприятеля, надеюсь принудить его оставить Москву и переменить всю свою операционную линию...»

Ленка даже опешил.

– И откуда ты это знаешь?

– Как – откуда? В книжке одной прочитала.

– И выучила?

– Специально не учила. А так запомнила...

– Здорово!

Ленка в школе даже стихи-то с трудом заучивал наизусть, а здесь целое письмо Кутузова...

– А потом, после этого письма, – продолжала Елка, – Кутузов и впрямь перехитрил Наполеона. Пошел по Рязанской дороге и вдруг хитро – назад, на Калужскую дорогу. Про Тарутино помнишь?

– Помню, – неуверенно сказал Ленка.

– Вот под Тарутином и дал Кутузов тогда бой Наполеону. «...Село Тарутино, – писал он после боя, – ознаменовано было славною победою русского войска над неприятелем. Отныне имя его должно сиять в наших летописях наряду с Полтавою, а река Нара будет для нас так же знаменита, как и Непрядва, на берегах которой погибли бесчисленные ополчения Мамая...» Вот!

– И это ты знаешь? – поразился Ленка.

Потом они купались. Чтобы как-то восполнить перед Елкой свои пробелы в исторической науке, Ленка старался показать класс плавания и ныряния. Плавала Елка тоже неплохо, а вот нырять...

– Ой, ой, Леонид, прошу тебя, не надо так! Ты же захлебнешься! Зачем так долго! – восклицала она, когда Ленка появлялся из-под воды, еле дышащий и безумно счастливый. – А

потом, вдруг там, на дне, каракатицы какие-нибудь сидят! Как схватят! – Елка уже откровенно смеялась. – Или еще лучше: француз какой-нибудь с той войны, Отечественной? А-а?!

Река Нара. Речка Нара. Речушка Нара. Сто семьдесят три километра длиной. Левый приток Оки.

Что Ленка знал о Наре?

Бежит небольшая извилистая речка. Заросли тростника и осоки, а рядом луга, свежие, ярко-зеленые, пестреющие цветами.

Видно, весной разливается речка и доходит аж до того леса с подмытыми берегами. Лес – ельник с дубом. И еще орешник, осока в траве, яркие колокольчики, и земляника, и листья ландыша. По соседству мхи и лишайники. Целые ковровые острова!

Чуть дальше по реке – бузина, ивняк, шиповник. Ветви кустарников свисают с крутых, подмытых берегов прямо в воду. Тут, в воде, и осока, и белая кувшинка, и желтая кубышка, и хвощ. Речка как бы огибает бурно растущую зелень и жметя вправо, к низкому берегу. Точит-точит Нара правый берег, и здесь уже намыт песчаный пляж. Купайся хоть до одури!

Или на левый берег взгляни. Да что там – взгляни! Неширока речка Нара, перебирайся вплавь, а местами и вброд, выходи на крутой песчаный берег к сосновому бору. Минуешь песок, усеянный молодыми побегами типчака, вдохнешь сосновый воздух, пахнувший вперемешку и жимолостью, и крушиной, и черемухой, и смотри под ноги – собирай и клади в рот все, что душе угодно. Тут и землянику переспелую найдешь, и чернику, и костянику, и голубику, и ежевику, а подалее и малинка попадается. Крапива, правда, вокруг малины, но сейчас крапива еще не разрослась – и отодвинуть можно рукавом, и ногой прижать...

Дальше по Наре пойдешь и березовые леса встретишь. Самые что ни на есть грибные места. Конечно, когда грибам время придет. В этом же году пока сухо. Даже сыроежки на корню сохнут, и поганки еле-еле пробивают сухую землю. Зато на сырых местах, уже сейчас видно, клюквы и морошки будет немало. Вот только выйдет срок...

Под ногами пушистые метелки келерии и бархатистая лапчатка. Много ее в это лето! А на полянках на лугах таволга и вязель, в кустарниках – вечерница и живокость. И все живет, цветет, буйствует, радует глаз...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.